АНАТОЛИЙ ГОРДИЕНКО

Детство в солдатской шинели

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга рассказывает о юных защитниках Родины в годы Великой Отечественной войны. Герои этой книги ныне живут в Петрозаводске.

- Анатолий Гордиенко
  - ◯
  - ◯
  - ◯
  - ◯
- notes
  - ◯ 1
  - ◯ 2
  - ◯ 3
  - ◯ 4
  - ◯ 5

Анатолий Гордиенко
ДЕТСТВО В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ

АНАТОЛИЙ ГОРДИЕНКО

Детство в солдатской шинели

ПЕТРОЗАВОДСК «КАРЕЛИЯ» 1985

К читателю

ДОРОГОЙ ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Эта книга расскажет тебе о самых молодых участниках Великой Отечественной войны, о тех днях, когда на защиту священных рубежей Советской Отчизны встал весь народ. Тысячи

мальчишек и девчонок были верными помощниками родной Красной Армии, стали разведчиками, партизанами, санитарами, саперами, связистами…

В начальный период войны довелось и мне принять в ней участие в качестве юного связиста.

Много героических дел совершили сыны и дочери полков. Все, что им поручали командиры, они старались делать как можно лучше, подчас не жалея своей жизни, чтобы скорее приблизить день Победы.

Жестокая война с фашистами сделала их сиротами. В боях на фронте, в неволе, в блокаде потеряли они родителей, родных и близких — их заменили им воины Красной Армии. Они окружили ребят заботой и любовью, всячески старались уберечь их, не посылать, когда можно было, под пули.

Три разных судьбы пройдут перед тобой, мой юный друг, на страницах этой книги. Партизан, разведчик, радистка… Каждый из них с честью выполнил свой долг перед Родиной. Трудное, незабываемое время. Знаю по себе: далекие огненные годы никогда не уйдут из памяти.

Мы боремся за мир, мы не хотим войны. Наша партия, наш народ делают все для того, чтобы у советской детворы, у детей всего мира было счастливое мирное детство.

Но всегда нужно помнить о том, что капиталисты всеми силами стремятся развязать новую, ядерную войну. И наша молодежь должна сегодня как можно больше знать о нашем славном прошлом, должна думать о будущем. Надо быть ловкими, смелыми, сильными, умелыми, готовыми в любую минуту стать на защиту нашей любимой Родины.

Этому вас учит и книга Анатолия Гордиенко «Детство в солдатской шинели».

В. А. Шаталов,
летчик-космонавт СССР,
генерал-лейтенант авиации,
дважды Герой Советского Союза
г. Москва, Звездный городок

ДОЛГОЕ ЛЕТО СОРОК ВТОРОГО

В черном квадрате трюмного люка звезды казались близкими, яркими. С палубы их едва заметишь, а тут вон какие большие. Виктор все глядел и глядел, и ему стало казаться, что звезды перешептываются, подмигивая друг дружке. «Стану летчиком, подлечу близехонько и все как следует рассмотрю… А может, они дрожат от холода…» — думал Виктор. Шевельнулся, разбудил бабушку.

— Угомонишься ты нынче аль нет? — зашептала та спросонья. — Что там, наверху-то?

— Стоим еще. Говорят, в полночь отойдем. Ночью самолеты не летают, бомбить, знать, не станут нас в озере.

— На что мы тому немцу понадобились…

— Интересное у тебя рассуждение, бабушка. Будто немец знает, кто плывет на барже. Может, красноармейцы с пушками двигаются в район дислокации, — ввернул Виктор ладное словечко, услышанное недавно у железнодорожных теплушек на станции.

Бабушка Матрена помолчала, затем притянула к себе Виктора, стала поглаживать негнущимися, словно деревянными пальцами холодную голову.

— Застыл, поди.

— А вот швейную машинку взять надо было, — зло зашептал Виктор, уворачиваясь от бабкиной руки. — И зимнее вон умные люди в узлы напаковали. Шкипер говорит, дело серьезное заварилось, в воздухе пахнет грозой.

— К зиме возвернемся, — вздохнула коротко бабка и тихонько захрапела.

Совсем рядышком, за деревянным бортом баржи, лениво хлюпала вода, шепелявая девочка, слева, в темном углу баржи, куда еле доставал тусклый свет фонаря, снова заплакала.

— Где моя Маша? Ну почему ты забыла Машу? Ты плохая, плохая…

— Ну забыла я ее, в суете в такой, в аду этаком, — шептал ей в ответ хриплый женский голос. — Новую купим, еще лучше. Чаю хочешь, горлышко болит?

— Сходи за Машей, сходи, мамочка. Она одна умрет в пустом доме…

Виктор выбрался из-под бабкиного плюшевого жакета, которым они укрывались, нащупал ботинки. Перешагивая через спящих женщин и детей, выбрался по трапу на палубу.

За кормой чернели вдалеке силуэты домов, за ними шевелилось розовое зарево — то ли пожар, то ли закатное облако. На берегу что-то прокричали в жестяной рупор, сзади загудел буксир, подходя к носу баржи, стали бросать на баржу трос. Виктор двинулся к корме, сторонкой обошел будку шкипера. Старик уже два раза гонял его от рулевого колеса, а оно тянуло, звало, хотелось крепко-крепко сжать полированные ручки, повернуть влево, вправо… и вот уже баржа, нет, не баржа, а белый длинный пароход, послушный его рукам, выходит в просторное Онего…

За будкой было тепло и уютно. Прикрытые старым брезентом, громоздились ящики, бочки. Виктор подлез под брезент, поджал зябнущие ноги и стал глядеть на родной Петрозаводск. Здесь он родился, здесь совсем недавно, в мае, мама испекла круглый каравай на его тринадцатилетие. Здесь прошла вся его короткая и такая огромная жизнь…

— Надо, чтобы в жизни каждый день, — говорил когда-то отец, — был полным, как ведро воды. Полным и чистым.

Отец любил беседовать с сыном после ужина. Приходил он домой усталым, аккуратно снимал пиджак, расправлял в ладонях узенький полосатый галстук, надевал старую рубаху, долго мыл руки, поглядывал на притихшего Виктора, который подливал теплую воду в рукомойник.

— Ну, чего намартышничал сегодня?

— Лодочку хотел смастерить, парусник настоящий сделать, так палец ножом порезал. Из сосновой коры строгал. Кровь быстро слизал, она и остановилась.

— Парусник пускал?

— Потом уж, когда паруса сделал. На Лососинке, там, у озера, где мы с тобой гуляем. Пускал — и с валуна скатился. Вода теплая, ты не сердись. Маме сказывать не будем, ладно?

Отец улыбнулся уголками губ; стряхнув над лоханью руки, долго вытирал белые тонкие пальцы чистым полотенцем, которое мигом подал ему Виктор.

У них была настоящая дружба. Точнее, эта дружба рождалась, ей бы окрепнуть, расцвести, да не судьба.

Отец работал в обкоме партии. Несмотря на занятость, на усталость, все свободные вечера отдавал сыну. Отец рассказывал о своих юных годах, о родном селе Лужма близ Ребол:

— Ты должен знать о своих предках. Тот, кто не ведает своих корней, легче осинового листика, подхваченного осенним ветром.

…Баржа качнулась, дернулась, на буксире прокричали команду, и черный берег стал медленно уходить назад. Заплакали женщины, заголосила, как на похоронах, маленькая старушка, перевязанная крест-накрест толстым платком:

— И куда ж это мы едем, куда гонит нас горькая судьбинушка! Что с нами будет, ох горе-то какое, сохрани и помилуй…

— Все оставили, только два чемоданишка взяли, нельзя, сказывают, больше. То ли еду брать, то ли валенки…

— Говорил военный один: вышвырнем захватчика, как кота поганого.

— К рождеству дома будем.

Розовое облако распалось надвое, его стала вытеснять тяжелая грозовая коврига, наползавшая с запада. Витя достал кошелек, вынул из него материны часики, завернутые в батистовый носовой платочек, долго вглядывался в полумраке. Было два часа ночи 23 августа 1941 года.

Спать не хотелось, — может, от прохлады, может, от таких зримых, четких воспоминаний.

Вон там, среди высоких берез старинного парка, они часто гуляли с отцом, он показывал место, где стоял дворец царя Петра, затем они спускались к Лососинке, и отец рассказывал, как здесь лили пушки, сверлили стволы.

— Закрой глаза… Теперь воображай: вон там, внизу, дымится литейка, слышишь, ржут лошади — это крестьяне привезли на завод озерную руду, а там кричит усталый офицер — он приехал за пушками для новых кораблей…

Отец стелил на траву старый дождевик, они садились плечо к плечу, и начиналась беседа. Отец словно спешил рассказать историю своего рода-племени, будто чуял, что скоро оставит сына сиротой.

…Бытовало предание, что в далекие времена появились под Реболами, на северо-западе Карелии, несколько беглых казаков — то ли с Дона, то ли с Кубани. Женились на местных девушках, язык переняли карельский, обычаи местные соблюдать стали. Хуторок один казак с сыновьями поставил на кряжике за селом. Звали казака Константином, и хутор нарекли Константиновским.

Текли, словно полноводные реки, годы, одно поколение сменяло другое. Дед Виктора Иван Васильевич Константинов имел большую семью — три сына да четыре дочки. Пахали землицу, ловили рыбу, зимой добывали зверя. Когда младший сын Петр подрос, стало видно, что паренек он смышленый, старательный. С похвальным листом окончил он церковно-приходскую школу, и тогда всем миром, на средства сельчан, послали его учиться в Выборг: пусть станет сельским учителем. Только кончил учебу — революция. Кое-как добрался Петр до Медвежьей Горы, пешком через Паданы пришел домой. Язык родной не забыл и вскоре стал учить ребятишек в школе. Голоса не повышал, не пил, не курил, все над книжками засиживался. Время было сложное, рядом Финляндия, оттуда нет-нет да и наскакивали конные ватаги из бывших богатеев, купчишек.

Дядя Петра Лука Васильевич с первых дней стал в Лужме советскую власть укоренять, выбрали его председателем сельсовета. Только недолго прожил молодой, горячий председатель, застрелили его белобандиты на пороге родной избы, на глазах у жены, у всего мира.

Петра Ивановича бандиты избили, связали и бросили в сарай на ночь, решали, какую кару он заслужил, но стеной стали утром за учителя земляки. Вечером ушел Петр из родного села. Учительствовал в Сяргозере, потом в Паданах. Там и познакомился с Ольгой, худенькой девушкой, школьной уборщицей. Нанялась она в школу, чтобы поближе к грамоте быть, — за плечами-то у нее всего два класса. Ольга осталась сиротой: отец сложил голову в империалистическую, мать с двумя младшими сестрами жила в Сельгах, неподалеку от Падан. Убирала Ольга в школе и в райисполкоме — тогда Паданы были центром Сегозерского района. Приглянулась она учителю чистой улыбкой, светлыми льняными волосами, незлобивым характером.

Только поженились — Петра Ивановича в райисполком перевели. В 1927 году вступил он в партию, стал работать в райкоме. А через год его пригласили в Петрозаводск, в обком партии инструктором. Аккуратный в делах, справедливый, он обладал цепкой памятью, говорил мало, но метко, слово его — верное, точное. Ровио присматривался к нему. Однажды в воскресный весенний вечер Ровио пришел к Гюллингу и увидел, что он и Константинов увлеченно разбивают цветник во дворе. Здесь, в двухэтажном доме, жили многие руководители республики, здесь получила большую, светлую комнату и семья Константиновых. Ровио улыбаясь поспешил к ним на помощь, а когда закончили работу, неожиданно спросил Петра Ивановича, как бы тот отнесся, если бы ему предложили должность

помощника первого секретаря обкома. В тот же вечер Густав Семенович позвал Константинова к себе пить чай и они договорились обо всем. Так и работали вместе до середины тридцатых годов.

Ровио, плотный, лысоватый, иногда заходил к ним домой. Отыскав взглядом Виктора, подмигивал, кивал на стоявшую во дворе легковушку. Мама не противилась: всем известно, что Густав Семенович очень любит детей, радовалась, когда отец и сын вместе с Ровио садились на виду у всего двора в обкомовский бьюик.

Вечерняя поездка всегда была праздником, Витя радовался быстрому бегу машины, вертел головой во все стороны. Ровио говорил по-русски медленно, с акцентом, и поэтому почти всегда переходил с отцом на финский. Кое-что Витя понимал: в Сельгах, да и дома с малых лет он говорил на родном карельском языке.

Обычно направлялись в сторону Лососинного озера. На тихой развилке останавливались, бродили по опушке леса, Виктор находил брусничку, нес в ладошке. Однажды, когда уже возвращались назад, почти у самого дома, Виктор, осмелев, спросил:

— Папа говорит, что вы Ленина видели?

— И видел, и разговаривал. Я охранял его от врагов, времени у нас было много, мы часто беседовали. Ильич и после революции не забывал меня. Среди финнов у него немало друзей было. Приходи послезавтра в 17-ю школу, у меня там встреча с ребятами, рассказывать о Ленине буду.

— Я еще в школу не хожу.

— Приходи, я попрошу, чтобы тебя пропустили персонально, — засмеялся Ровио и потрепал Виктора за вихры.

…Город отдалялся, растворялся в сумраке, грозовая туча накрывала его мохнатым покрывалом. Виктор встал, размял затекшие ноги. На палубе молчаливо сидели люди. Медленно прошла худая женщина в белом берете. Точно такой носила мама. Виктор подумал об этом, и слезы подступили к горлу. Он перегнулся через борт, стал вглядываться в темный с белесой проседью бурунный след за кормой, враз продрог и снова вернулся на свое покойное место, укутался брезентом, пахнущим рыбой и керосином. Щемящая тоска снова сжала горло.

Витя ни на секунду не забывал эту ее странную записку, разбуди его среди ночи, он тут же повторил бы торопливо написанные слова: «*Дорогой Витя! Я уехала в командировку. Так надо. Прощай. 28 июля 1941 года*».

Записка лежала в комоде, рядом тикали маленькие мамины

часики. Почему она их не взяла? Забыла? Нет, оставила сознательно. Значит, они ей не нужны, значит, уехала не в командировку. А куда? В эвакуацию со своими? Такого не могло быть — все уезжали на восток с семьями. Виктор ходил по опустевшим улицам, слонялся около горкома, надеясь встретить кого-нибудь из приятелей матери или отца, но люди тут были новые, занятые своими делами.

— Мама, мама, как ты могла бросить нас, — всхлипнул Виктор, уже не в силах удержать слезы.

Рядом гулко прогрохотали сапоги, брезент пополз вверх, над Виктором возникла широкая борода шкипера.

— А я слышу, кто-то есть, думаю, может, пособить чем надо. Шел бы ты в трюм, поспал.

— Там людей много, дышать трудно.

— Ну, коли так, сиди, конечно, только не горюнься. Горя у всех через борт, горя больше моря. Ты вот, я приметил, с бабкой плывешь, а маманя где обретается?

— Не знаю. Уехала в командировку и потерялась. А тут повестка, что мы должны плыть сегодня на барже в эвакуацию. Два узла захватили и айда. Говорил бабушке— валенки надо взять и пальто отцовское теплое, так она обзывается всякими словами. Заладила: вернемся по первопутку — и все тут.

— Озябнешь, приходи чай пить, — сказал шкипер, подтыкая под Виктора брезент.

…И дед и прадед матери жили в Сельгах, крестьянствовали, ловили рыбу в богатом Селецком озере. Виктор, когда подрос, почти каждое лето приезжал к бабке Матрене. Окончит школу — и в Сельги. Мать привезет его, побудет день-другой и назад в Петрозаводск — работа, дела. Бабушка и Виктор ставили сети, ряпушка ловилась — во-о! — длинная, на всю сковородку, набитая икрой, как колбаска. Бабушка чистила молодую картошку, резала кружочками, клала вперемежку с ряпушкой, заливала сметаной, ставила в печь.

Приехав как-то на денек в августе, мама показала Виктору свои потаенные места, куда она в детстве, такой же босоногой, бегала за морошкой, за черникой. Витя кликнул своего дружка Толю Маркова, и теперь они почти каждый день приносили по берестяному туеску ягод.

Показала мама и грибные поляночки в старом лесу за озером, куда они плавали на лодке:

— Бывало, мы нашим семейством чуть не полную лодку волнушек да груздей набирали. Богатые края. Тут, ежели грибной год, то хоть косой коси.

И когда вскоре старый приятель мамы Степан Константинович Локкин, высокий, длиннорукий, гордо носивший на красном сатиновом кружке орден Красного Знамени, полученный за лихие партизанские налеты в гражданскую войну, принес новенькую косу-горбушу, подал бабке и сказал: «Во, Матрена Михайловна, легче лебединого пуха», Витя схватил его за руку:

— Это грибы косить, дядя Степанушка?

Локкин долго хохотал, приседая и кашляя.

Мама приезжала в Ссльги редко, но Витя ждал ее каждое воскресенье. Вместе с бабушкой чистил мелким красным песком у колодца, а потом квашеным тестом самовар, тряпочкой бережно тер старинные медали, выбитые на его боку.

— Вишь, чисто генерал, хоть честь отдавай, — смеялась мама, довольная, раскрасневшаяся, прикладывая по-военному ладонь к белому берету. Она выходила с Витей на улицу — белая кофточка с вышивкой нитками мулине, черная узкая юбка, черные лодочки-лакировки и часики на руке, тикающие тоненьким звоном. Все село знало его маму, почти все село перебывало у них за зиму в Петрозаводске. Спали на старенькой деревянной раскладушке, на полу — бросали лосиную шкуру, отцовский охотничий трофей. Виктор и сам любил поваляться на ней, показывая гостям заскорузлую дырку от пули.

Председатель колхоза «Красный партизан» Тимофей Васильевич Захаров чинно здоровался с мамой за руку. Мимоходом докладывал ей, что Витек не бьет баклуши в селе: лошадей любит, силос помогал возить, рожь, ячмень в снопах, веял зерно под навесом, даже шишку на лбу ручкой от веялки набил. Виктор слушал-слушал и, враз покраснев, запускал мотор: фыркал, взмахивал неистово перед собой правой рукой — один оборот, второй, третий, давал команду «От винта!» и устремлялся в полет, точнее, в бег.

Бежал на колхозный луг к Гавриле Мекечеву поить лошадей. Тревожно и радостно сидеть на спине Серка, когда тот медленно входит в воду, пьет, не отрываясь от чистой глади, и вот уже плывет по замершему полуденному Селецкому озеру.

В селе текла совсем иная жизнь, не похожая на городскую, — вольница! Тут бабушка с первого дня забирала ботинки, давала старые галифе или домотканые самодельные штаны, чтоб не отличался от деревенских, и после утреннего парного молока от коровки Мути можно было исчезать хоть до вечера, если бы есть не хотелось в обед. Все лето можно гонять босиком! Можно самому плавать на лодке, купаться по сорок раз в день, ловить удочкой рыбу, на ночь выходить на дальнюю ламбушку, собирать

с ребятами чернику, перемазаться, разукраситься, и никто не спросит вечером: «Ну, чего ты намартышничал сегодня?»

В городской жизни были, конечно, свои прелести. Зимой Виктор летал на лыжах, катался на санках с горки, которая сбегала в ямку Онегзавода. Нравилось толкаться по праздникам у гостиного двора, где пахло теплыми пирожками, дегтем, ременной сбруей, керосином. Частенько бегал на пристань — там приезжие рыбаки прямо с лодок продавали свежую рыбу.

А Первомай! Всё в кумаче, играют оркестры, повсюду песни, задорно, не жалея каблуков, пляшут «яблочко» онегзаводские комсомольцы.

Летом в Петрозаводске стали отмечать День Военно-Морского Флота. Отец повел Витю на водную станцию еще утром. Смотрели, как готовят тяжелую шлюпку гребцы, как выпорхнула в Онего, словно белокрылая чайка, парусная яхта. Народу все прибывало. Начались шлюпочные гонки, заплывы пловцов, и наконец вышли водолазы — чудо из чудес! Толстый дядечка в морской тельняшке озорно бросал в озеро фарфоровые тарелки, те скользили на дно, через минуту водолазы поднимали их наверх. Виктор так аплодировал, что ладошки горели весь день.

Запомнилось, как открывали памятник Ленину на площади 25-го Октября. Гудел митинг, бухала медная военная музыка. Витя с мамой стоял в первом ряду, и ему хорошо было все видно. Вот на гранитную приступочку, прямо у памятника, взошло несколько человек. Витя узнал Ровио, тот выступил вперед, поднял руку и стал говорить речь. Позади стоял радостный отец и улыбался Виктору. Потом был громоподобный салют из пушек, оркестр играл «Интернационал», шелестели под холодным ноябрьским ветром знамена. За обедом отогревались чаем, отец был на редкость веселым, нежно смотрел на маму, и они пели любимую их песню:

Все васильки, васильки…
Много мелькало их в поле…
Помнишь, до самой реки
Мы их сбирали для Оли.

Но все это отодвинулось далеко-далеко, а вот тот день, когда отец принес коньки, снегурки, помог прикрепить к ботинкам, вывел Витю на скользкую улицу, стал учить кататься, — это словно вчера произошло. Может, из-за коньков да лыж, на которых Витя гонял до самых сумерек, он простужался, кашлял, нет-нет да и подскочит температура. Отец выхлопотал ему на август путевку в санаторий под Ленинградом. Простились на

вокзале, по-мужски жали друг другу руки, отец стоял у вагонного окна. Через месяц мать приехала за Виктором. Ее нельзя было узнать — худая, черная с лица, с воспаленными глазами.

— Нет у нас больше отца, Витя. Помер он. Вырастешь — узнаешь все. Но что бы тебе ни говорили, ты знай: отец твой Петр Иванович Константинов был честный большевик и гордый человек.

…Мать позвала бабку Матрену из Селег, чтоб та присматривала за Виктором. К тому времени их семья переехала на другую квартиру — дали комнату на Зареке, мать оставила прежнюю работу: сказали, что у нее не хватает образования.

Осенью мать записалась в вечернюю школу, не стыдилась, что уже в годах, наоборот, радовалась. Теперь по воскресеньям с сыном сидела за одним столом, решала задачки, учила немецкий: «Анна унд Марта баден».

Незадолго до войны Ольга Федоровна закончила семилетку. Она взяла Виктора на выпускные экзамены. Усадила его в классе за печку — пусть слушает, как мать подготовилась. Что ни спросят у нее — все знает мама, отвечает бойко, ничего что с карельским говорком, учителя хвалили, улыбались.

Ольга Федоровна стала работать в Доме партийного просвещения обкома партии секретарем-машинисткой. Ей нравилось там, люди подобрались сердечные, заведующий Яков Алексеевич Балагуров ценил ее быстрый ум, хватку, рассудительность, доброту.

— У нашей Ольги Федоровны есть черта, за которую нужно платить чистым золотом, — любил он повторять, — свое личное эта милая женщина всегда подчиняет общественному.

В Доме партпроса часто бывали интересные люди, она слушала их выступления, жалела, что нет Витюши, а иногда и брала его, находила ему укромное местечко — пусть слушает.

Здесь гостеприимно встречали столичных лекторов, писателей. Тут в июне 1938 года бывал легендарный Папанин, начальник дрейфующей полярной станции «Северный полюс», избранный депутатом Верховного Совета СССР трудящимися Карелии.

Но больше всех Виктору запомнился Тойво Иванович Антикайнен. Под несмолкающие аплодисменты он прошел, покашливая в кулак, через зал, сверкнул на лацкане черного пиджака орден Красного Знамени. Лысоватый, чуточку сутулый, говорил по-русски с акцентом. На сцене за кумачовым столом сидели Куусинен, Куприянов, Дильденкин, незнакомые строгие военные в долгополых гимнастерках.

Виктор спрятался в конце зала за кадку с фикусом, слушал

внимательно, но понимал не все. Одно знал: Антикайнен, знаменитый красный командир храбрых лыжников сидит перед ним в зале. О нем Виктор аж три раза смотрел кинофильм «За нашу Советскую Родину». «В Антикайнена» они играли зимой, пробираясь на лыжах по холмам за Лососинкой, сжимая в руках самодельные деревянные винтовки. Антикайнен, один из организаторов Коммунистической партии Финляндии, был схвачен сыщиками и брошен в темницу. И вот Советское правительство добилось, чтобы его выпустили на волю. Запомнился рассказ Антикайнена о том, как он поддерживал свои силы в тюрьме, как сумел сохранить здоровье. Каждое утро, просыпаясь на заре, он подолгу делал физические упражнения, обтирался холодной водой. Зимой в холодной и сырой камере длительный бег на месте согревал, ноги не отекали, сердце работало нормально. В глухой одиночке можно было, конечно, лежать, сидеть, но он целый день проводил на ногах. Кто лежал, тот угасал, как костер под дождиком.

…За хорошую учебу Виктора премировали альбомом и большой коробкой с красками. Он тут же принялся рисовать, он уже видел легендарных лыжников, громящих белофиннов в Кимасозере, белые парусники на Онежском озере, первомайскую демонстрацию… Но дело пошло не сразу — краски расползались, фигуры людей напоминали копны сена, пароход «Челюскин», погибавший во льдах, походил на огромного кита с дымящей трубой на спине. Виктор все дни напролет сидел за столом, постепенно, шаг за шагом, осваивал он акварель.

Однажды Витя нарисовал памятник Ленину, рисовал Чкалова — получалось похоже. И наконец нарисовал Антикайнена. Прибежал к матери с альбомом, та радовалась вместе с ним, сказала, что дядя Тойво очень похож.

Перед Октябрьскими праздниками Витя наклеил на картонку портрет Антикайнена и принес его в школу. Учительница похвалила Виктора, велела прикрепить портрет кнопкой на классной доске, и он целый день был у всех на виду.

Октябрь был в их доме большим праздником. Пекли пироги, приходили гости. А накануне маму приглашали в театр. Так было и на этот раз. Мама вымыла земляничным мылом короткие свои волосы, надела на Виктора свежую сорочку, пиджачок, и они пошли на торжественное заседание. Сидели недалеко от президиума, и Витя на этот раз хорошо рассмотрел Антикайнена — тот занимал почетное место в центре стола. Во втором ряду, подмигнув Виктору, уселся Павел Павлович Константинов, двоюродный брат отца, в шерстяной гимнастерке с новенькой медалью «За отвагу». О его подвиге на войне с Финляндией

многие знали в городе. Витя услышал об этом от мамы. Дело было зимой, отделение вело бой за высотку, белофинны скрытно окружили горсточку красноармейцев, кричали им, чтобы те сдавались. Таяли силы, погибали красные бойцы, снайперская пуля задела дядю Павла Константинова. Но как только враги поднимались в атаку, их встречал меткий огонь дядиного пулемета. Снова и снова враги предлагали нашим сдаться в плен. Тогда дядя Павел отрезал кинжалом большой кусок от парашюта, найденного неподалеку, и кровью из своей раны написал: «Русские не сдаются!». Ночью он подполз к вражеским окопам и прицепил это полотнище на колючую проволоку. Потом огнем своего пулемета он прорвал вражеское кольцо и вышел с оставшимися бойцами из окружения.

…Виктор согрелся, видения прошлого растаяли, расплылись, и он задремал под убаюкивающий плеск волны за бортом. Волна монотонно ударяла, словно басовая струна тяжелого кантеле, потом с замиранием, тихо шурша, откатывалась назад…

Что послужило толчком к его увлечению музыкой? Скорее всего, отцовская скрипка, висевшая у матери над кроватью. Виктор помнил, как на ней играл отец, играл редко, но с упоением, преображался, будто не он, а какой-то чужой мечтательный человек стоял в комнате у темного вечернего окна. Часто Ровио звал к себе отца— он тоже играл на скрипке, вместе они вели мелодию слаженно, красиво, так что щемило сердце. И Ровио тоже менялся в лице, глаза его светлели, тяжелая рука взлетала легко, крылато. Все это запомнил Виктор и старался, когда стал играть сам на кантеле в школьном оркестре, походить на него.

На Первомай около Главпочты поставили приятно пахнущие смолой дощатые подмостки, и сразу же после демонстрации оркестр 18-й школы дал большой концерт. Люди запрудили всю улицу. Витя не отрывал глаз от струн, но все же заметил мамин белый берет, розовый букетик из стружечных цветов, который они завивали теплыми ножницами и клеили накануне вечером.

Раза два оркестр приглашали играть на концертах в театре, в зале сидело много военных — шла война с Финляндией. В тот же год в их школе сделали госпиталь, и они выступали перед ранеными.

Павел Павлович Константинов как-то пришел в гости, говорил по-карельски с Виктором. Мать нервно расчесывала короткие волосы, видимо, стыдилась протертой клеенки на столе, своих растоптанных комнатных туфель. Дядя Павел поднял худенького Виктора на руках, легко оторвав от пола, притянул к

себе, стал рассматривать его значки на груди, похвалил за «Юного Ворошиловского стрелка». И тут же достал из левого кармана гимнастерки настоящую красноармейскую звездочку с выщербленным уголком:

— Памятная. Была у меня на шапке там, в бою. Видишь, пуля чиркнула. Дарю.

Утром Виктор, уходя в школу, приколол ее на рубашку, и вдруг почувствовал, что стал взрослым, ну почти взрослым. Нужно найти настоящее дело, пора серьезно готовиться в летчики.

На берегу Лососинки, за мостом, была сооружена высокая парашютная вышка Осоавиахима. Непросто влезть на нее по ступеням, еще сложнее прыгнуть вниз. Некоторые влезали, а прыгнуть с парашютом не осмеливались. Боря Бойцов, он постарше, подначил Виктора. Прыжок стоил рубль. Виктор без колебаний отдал рублевую бумажку, выданную ему матерью на мороженое, на горячий московский пирожок. Рубль перекочевал к инструктору Аркадию, тот церемонно выдал билет, застегнул на Викторе карабины подвесной системы, монотонно рассказывая правила полета и приземления. Громом небесным прозвучала команда «Пошел!», Витя закрыл глаза и шагнул в пустоту. В тот же миг над ним хлопнул огромный белый зонт. Двадцать секунд полета! Они показались мгновением. Вот и земля. Ноги противно дрожали, во рту сухо, и все же страх побежден. Виктор кое-как отцепил замки крепления, взглянул вверх, засмеялся.

Прыжки стали ему сниться. Он настырно клянчил у матери рубль, собирал цветной металлолом, затаив дыхание считал копейки — только бы хватило на вышку. Один прыжок в день — это же досадно мало! Инструктор посмеивался, видел, что Виктор прирос к вышке, прикипел. В конце дня он разрешал этому тоненькому мальчику с горящими глазами прыгнуть бесплатно.

Однажды Виктор сидел на вышке, ждал очереди и вдруг увидел маму: она шла по мосту, сосредоточенно глядя под ноги.

— Скорее, скорее дайте мне, — зашептал Виктор, теребя за пиджак Аркадия. — Ну пожалуйста, ну скорее!

Быстро застегнул крепления, подбежал к краю.

— Мама! Мамочка! Смотри!

И прыгнул головой вперед, как это однажды сделал заезжий военный летчик, выровнялся столбиком, чётко приземлился.

Мать долго стояла на одном месте, приложив козырьком к глазам руку. Вечером, подсев к нему на кровать, неторопливо теребила его льняные волосы, молчала…

— Мама, мама, — зашептал Виктор, засыпая под

брезентом, — как же ты могла меня бросить…

Здесь, прежде чем перейти к повествованию о новом важном этапе в жизни Виктора, автор счел необходимым передать на время роль рассказчика самому мальчику и привести некоторые документы того времени.

23 июня 1941 года Виктор начал вести дневник, решил записывать перед сном все самое главное.

Приехал из Селег двоюродный брат Павел. Купались с ним на Лососинке у плотины. Там вчера кто-то и закричал, что началась война. Сегодня ходили к маме на работу. Разрешила постучать немного на машинке. Сама очень переживает.

По радио играют марши. Ходили с Павлом в кино, смотрели «Цирк». Потом ныряли с плотины. Бабушка Матрена напекла вкусных пирожков.

Мама плакала ночью. Война ее тревожит. А у меня такая жизнь пошла, забываю обедать.

На нашей плотине мылись стриженые новобранцы. Тут же переодевались в новенькую военную форму. Довольные, смеются, говорят: будем воевать на вражеской территории.

Формируется истребительный батальон. Нам не говорят, что они будут делать. Похолодало, но купаемся.

Приказали рыть траншею во дворе. Щель называется, от бомбежки. В городе много красноармейцев.

Щель сверху накрыли бревнами. Вниз натаскали травы, постелили старые ватные одеяла. Играем в войну. Про индейцев забыли.

Медная трубочка — ствол моего пистолета оторвалась и полетела назад. Лоб замазали йодом. Надо меньше класть спичечной серы. Пуля из гвоздя пролетела целых десять метров. На выстрел прибежали два красноармейца, но нас не догнали.

Был сильный налет. Земля тряслась. Очень страшно.

29 июля. Мама уехала в командировку. Оставила деньги. Бабушка ничего не знает. Молчит как глухая.

22 августа принесли повестку: «Вам надлежит прийти на причал для эвакуации из г. Петрозаводска в Вологодскую область».

На барже нас как селедок в бочке. Меня злят дети, которые гоняют по палубе. Тетя Данилова их угомонила еле-еле. Шкипер дал угля, задымили самовары.

Идем по Онего. Интересно, кто первый догадался варить кашу в самоваре. Очень вкусно.

В Вытегре дали щей и хлеба. На берегу дымила походная кухня. Рассмотрел ее устройство.

3 сентября прибыли в Череповец. Ночью выгрузились, нас

накормили, развели по домам. Мы живем у Комлевых, улица Труда, дом 125. Николай и Виктор Комлевы — мои сверстники, парни что надо.

Пошел в школу № 9. Получил на себя и на бабушку карточки. Хлеба мало. Идет дождь, холодно.

В школе сначала давали булочку, потом кусок хлеба с мокрым сахаром, теперь ничего. Ботинки разваливаются. Идет снежок.

Купил ботинки с коньками. Днем накатался вдоволь на пруду, а вечером расклепал заклепки, снял коньки, и теперь у меня мировецкие ботинки и на толстой коже, хватит на зиму. Буденовку забыл, теперь хоть плачь.

Все думаю о маме. Может, она вернулась в Петрозаводск и всюду ищет нас. Решил писать в горком. Погода пасмурная, метель.

Написал в Петрозаводск секретарю горкома, партии Дильденкину, что я сын машинистки Ольги Федоровны. Просил найти маму, которая уехала в командировки и не вернулась до сих пор. Подписался: Виктор Константинов, пионер.

Мама нашлась, ура! В декабре пришло коротенькое письмо из Беломорска: «Ваша мать находится в партизанском отряде „Красный онежец“. Дильденкин». В письме была еще справка.

Пришло письмо от мамы. Весь день светило солнышко. Я тут же сел писать ей ответ.

Здравствуй, дорогая мама!

Я не нахожу слов описать нашу радость, когда получили письмо от тебя. Мы живем плохо. Кушать нет ничего, кроме 400 грамм хлеба, но как-нибудь проживем… Я столько сделал, что ты не поверишь: выхлопотал пенсию, а потом, когда прислали справку о том, что ты находишься в партизанском отряде, стали получать пособие, сам меняю карточки на хлеб, выписал дров. Это мне мешает в учебе. В первую четверть имею три посредственные оценки, остальные «хорошо» и «отлично». Нас эвакуировали 22 августа, и с тетей Даниловой приехали в Череповец.

…Мы ни с кем не имеем связи. Мама, я не имею лыж и не катаюсь. Мама, почему ты не сказала, что ты в партизанском отряде? Мама, когда будешь ехать за нами, поскорей заедь в Петрозаводск, зайди в квартиру. Фашисты, наверно, ограбили. Ты им отомсти за нас. Немцы в панике отступают. Мы верим в победу наших доблестных бойцов. Разгромим и уничтожим гитлеровцев, нарушивших нашу жизнь.

Будь же героем Отечественной войны и возвращайся с победой. А я окончу шестой класс на «хорошо». До свидания, мамочка[1].

Из дневниковых записей Виктора:

Я решил ехать в Беломорск к маме. Хлопочу об отъезде.

Дали на семь дней дороги сухарей, муки. Бабушка Матрена слаба, но я ее не брошу.

До станции вез бабушку на санках. Сели в теплушку. В Вологде нас накормили. Едем вторую неделю. Везут в сторону Архангельска.

Мы застряли на станции Обозерская. В Беломорск не пускают — нет пропуска. Я бегаю по начальникам, пока ничего. Живем на вокзале. Весь день околачиваюсь на станции — должен же я встретить знакомого человека!

Бабушку пристроил в няньки, сам дежурю на станции.

Пробьемся!

Ура! Встретил Константина Константиновича Завьялова — он знает меня и маму, он работал в горкоме партии. Дал денег, обещал сразу же разыскать маму.

Дни тянутся так долго. Погода совсем плохая, метель. Моя фуфайка, которую мне подарил незнакомый военный, греет хорошо. Спасибо ему.

Ура! Мама приехала. В новеньком полушубке, на боку наган, вся пахнет лекарствами. Мама плачет, а я смеюсь.

Мы в Беломорске. Нас приютила мамина подруга тетя Настя Подкопаева. У нее орден Красной Звезды — она дала много своей крови раненым бойцам. Беломорск теперь столица республики, тут все руководители. Встретил товарища Дильденкина. Поговорили. Он сказал, надо учиться, а я хочу в отряд. До отряда не очень далеко, находится он в С. (писать не могу — секрет). Бабушка болеет.

Уже месяц как мы в Беломорске. Пригревает солнышко. Приехала мама за лекарствами. Проговорили весь вечер. Я узнал много интересного. Мамин отряд сформирован 3 июля 1941 года, в основном из работников Онежского завода, потому они и выбрали себе название «Красный онежец». Вначале отрядом командовал директор завода Тиден, теперь командир К. У мамы много друзей в отряде: Ольга Майорихина была табельщицей на заводе, Володя Дешин — токарь, автомеханик Константин Гостев. Но в отряде не только онежцы — там есть мастер Кондопожского бумкомбината Панфилов, шофер Подкаура. Вместе с ними крепко воюет и учитель Георгий Викторович Городыский. Мама в отряд записалась добровольно, сначала ее не брали, но помог горком. Мама рассказывала про первый поход. Оказывается, отряд был в районе Падан. Мама воевала в родных местах! У Пенинги был бой с разведкой, на Ребольской дороге резали связь, подбили автомашину, взорвали мост у деревни Муезеро. Однажды отряд обстреляли, но

мама не растерялась, под пулями делала перевязку. Оказывается, моя мама — храбрый человек, и я ею горжусь. Снова просился в отряд. Мама отмалчивалась.

Из докладной записки штаба по руководству партизанскими отрядами в ЦК Компартии КФССР 6 сентября 1941 года:

«…Отряд „Красный онежец“ в районе Кимасозера уничтожил в течение августа два вражеских самолета, четыре автомашины. Убито 20 белофиннов».

В ноябре 1941 года на собрании коммунистов отряда «Красный онежец» О. Ф. Константинову приняли в члены партии. В своем заявлении она писала:

«Прошу принять меня в ряды большевистской партии, в партию Ленина… я готова отдать все свои силы для блага Родины и, если понадобится, отдать свою жизнь за Родину».

Из дневниковых записей Виктора:

В конце апреля 1942 года приехала медсестра, подруга мамы, сказала: «Тебе разрешили повидаться с матерью. Поехали».

Приехали в С. Пошли с мамой к командиру К. Затем я сам бегал к комиссару Б. Сказали, подумаем. Мама говорит, что в лагере нельзя вести дневник — здесь кругом военная тайна.

…Первомай этот запомнился Виктору на всю жизнь. День выдался теплый, пронизанный светом. Солнце горело на малиновой звездочке пилотки, на ботинках, тщательно начищенных еще с вечера, на масленом стволе карабина. Первого мая 1942 года Виктор Константинов стал бойцом партизанского отряда «Красный онежец». Накануне вечером его вызвали в штаб, долго беседовали и в конце дали лист чистой бумаги. Виктор стал писать заявление с просьбой принять его в отряд. Писал, что хочет бить немецко-фашистских захватчиков, пока не выгонят всех с родной земли.

Виктора зачислили во взвод Ивана Тимофеева, крепкого приземистого человека с цепкими рысьими глазами.

И вот теперь, на торжественном построении, Витя стоял на левом фланге своего взвода. Тяжелый карабин тянул вниз, но Виктор, стараясь унять дрожь в ногах, все же приподымался на цыпочках, чтобы хоть верхом пилотки достать до плеча стоявшего рядом Алеши Скокова, своего нового товарища, молоденького храброго партизана, веселого острослова, неутомимого гитариста, знавшего, как он сам говорил, сто одну песню.

Из штаба вышел легкой походкой командир отряда Иван

Яковлевич Кравченко, уроженец Полтавщины, бывший начальник погранзаставы близ Ухты, человек, обстрелянный еще в первый день войны. Это он 18 августа 1941 года поднял в контратаку горсточку своих пограничников— шесть человек, все, что осталось от заставы, и погнал, поливая из ручного пулемета, вспять вражескую роту, оставившую на лесной поляне тридцать два трупа, о чем писала газета «Красная звезда» и за что вскоре лейтенант Кравченко получил орден Красного Знамени.

Затянутый новым скрипучим ремнем, он одернул тщательно отутюженную диагоналевую гимнастерку, незаметно покосился на сверкающий орден, подошел к отряду, четко поставил каблук к каблуку, играя выучкой, кинул к пилотке кулак, резко разжал его у виска, поздоровался. Затем он поздравил партизан с праздником, коснулся обстановки на фронтах, подвел итог борьбы «Красного онежца».

— Мы сделали только первые шаги, товарищи. По оценке командования — начало неплохое. Но главные бои впереди. Захватчики не должны безбоязненно разгуливать по нашей советской территории. Пусть земля горит у них под ногами! Сегодня, в этот светлый праздник, я еще раз хочу повторить задачи, стоящие перед нашим «Красным онежцем», перед соседними отрядами. Мы ведем бои в тылах 14-й пехотной дивизии финнов, которая давно метит прорваться к Кировской железной дороге и к станции Кочкома. Дорогу, эту важнейшую артерию нашего фронта, мы должны сохранить любой ценой! Не позволим врагу перерезать ее! А для этого мы должны регулярно нападать на захватчиков, уничтожать их базы, линии связи, живую силу и технику. Мы должны запугать врага, деморализовать его. Этим мы окажем серьезную помощь регулярным войскам, обороняющим наше направление. В заключение поздравляю новичков, влившихся в отряд, и в частности хочу поздравить молодого бойца Виктора Константинова. Ему, правда, всего тринадцать лет, и я думаю, что все мы будем считать его сыном нашего партизанского отряда, беречь как сына и спрашивать с него строго, по-отцовски. С праздником, дорогие товарищи! Ура!

Отряд был расквартирован в Сегеже, жили в двухэтажном общежитии бумкомбината, уходить из расположения части запрещалось.

День проходил напряженно. С утра — политзанятия, комиссар Бесперстов читал сводку Совинформбюро, затем расходились по взводам и начиналось: топография, устройство пулемета, автомата. После обеда шли в лес— ориентирование на местности, маскировка, подача условных сигналов, минирование

дорог, лесных тропок.

На следующий день до обеда пропадали на стрельбище. Первый раз в жизни Виктор стрелял боевыми патронами из боевой винтовки. Все сделал как учили: ловко опустился на левый локоть, слегка раскинул ноги, приладил винтовку на брустверк, крепко прижался щекой к прикладу, отодвинулся, передернул затвор, опять прильнул к прикладу, подвел мушку под низ мишени, хукнул, выдохнув воздух, и медленно потянул за спусковой крючок. Совсем не страшно! Приклад толкнул не больно, гром выстрела не оглушил. Командир отделения Коля Котов одобрительно кивнул головой, поднял большой палец. Второй выстрел, третий. Через пять минут, которые тянулись, как целый час, по телефону из траншеи сообщили: одно попадание.

— Это первая пуля, — вздохнул Котов, — а две остальные ты пустил в «молоко». Дергался, торопился. А куда, спрашивается?

Виктору было обидно до слез. Незаметно он отвинтил свой значок «Юный Ворошиловский стрелок», где над мишенью горело пламя пионерского костра. Прикрепил его снова лишь через две недели, когда все три пули вошли в черный бумажный силуэт.

Потом учились стрелять по движущимся мишеням, и был такой день, когда Виктор отстрелял лучше своего отделенного. Радовался всю неделю, с гордостью рассказывал матери, а того не знал, что сыграл Коля Котов в поддавки — решил подбодрить Виктора, у которого то и дело случались огорчения: то на рытье окопа у него уходило вдвое больше времени, то у разводящего не спросил пароль, когда шли сменить его на посту у конюшни, то на ориентировании заблудился, да еще и компас потерял, искали всем отделением…

Однажды в воскресенье мать позвала Виктора на стрельбище. Стреляла из нагана по-мужски, твердо вытянув руку, крепко поставив ноги на ширину плеч, — все пули до одной легли в черный силуэт. Виктор дрожал от нетерпения. Наконец, вот она, шершавая рукоятка нагана! Ноги поставить нешироко, руку согнуть в локте, стать вполоборота к мишени. Почему же так неистово пляшет мушка, выскакивая из ложбинки прицела? Выстрел! Мимо. Выстрел! Снова промах. Тяжеловат был револьвер для худенькой руки Виктора. Вот если бы положить его на что-то, но ведь в бою не будешь искать упор…

Размеренную жизнь отряда прервала утром команда:

— Выходи строиться!

Отряду «Красный онежец» было приказано перебазироваться поближе к линии фронта, в село Лехта, бывший центр Тунгудского района. Погрузили имущество, завели лошадей в

теплушки, доехали до станции Сосновец, выгрузились, а там — пешим маршем. Тридцать километров прошли за ночь. «Только бы не отстать, только бы не осрамиться…» — бормотал Виктор, упорно передвигая ноги.

Лехта раскинулась у широкого, тихого Шуезера, жители почти все выехали еще в сорок первом, но на улицах то и дело сновали военные, грохотали армейские зеленые повозки — недалеко находился штаб 32-й отдельной лыжной бригады полковника Горохова, державшей солидный рубеж обороны.

Отряд разместился в двух деревянных двухэтажных домах, третий небольшой домик занял штаб, недалеко была кухня, за ней стояла конюшня. Кто-то сказал, что здесь до войны была МТС. Партизаны наспех наладили постели и улеглись спать. Виктора не будили, почти целые сутки спал он без просыпу.

Дружно привели в порядок жилье, закурился дымок над кухней. И тут пополз слух: скоро в поход. А через день и вправду Кравченко отдал приказ готовиться к длительному рейду в тыл врага.

Виктор приставал к Котову, осторожно спросил Тимофеева, возьмут ли его в поход. Те отмалчивались, пожимали плечами. У Виктора отлегло на душе, когда он вместе с другими пошел на склад получать патроны, гранаты, сухари, консервы, концентраты. Выдали на целый месяц — получился настоящий партизанский сидор килограмм под тридцать. Котов часть груза взял в свой мешок, остальное помог толково уложить: на дно — консервы, патроны, потом — ржаные сухари, концентраты, снова патроны, консервы, в прорезиненный пакетик запрятал спички.

Вечером в комнату отделения Котова заглянула мать, поманила пальцем Виктора:

— Приходи к нам, я блинов напеку.

Только солнце зацепилось за верхушки елей, Виктор постучался в комнату, где жили медсестры. За стол уселся сразу, сидел веселый, болтая под столом ногами, быстро уминал блины — мать не успевала подкладывать. У жаркой плиты возились раскрасневшиеся подруги матери — Оля Майорихина, Таня Родина, Настенька Майорова, Лена Власова. По стене перебегали красные отсветы огня, на столе мирно, по-довоенному сопел дряхленький самовар, оставленный старыми жильцами.

После чая завели было песню, но песня не шла. Мать глядела на Виктора серьезными, широко открытыми глазами, пошла провожать его. На дворе стало студено и хмуро, мама озябла, прятала подбородок в воротник гимнастерки.

— Идешь, значит?

— А то как же, мама! Со всеми. Я так боялся, что не

возьмут…

Мать попыталась обнять его, но Виктор отстранился: ему вдруг показалось, что кто-то может увидеть эти «телячьи нежности». Мать засмеялась, толкнула его в спину:

— Иди уж, герой — галифе с дырой…

Накануне похода ночью выпал вдруг снег. Он лег толстым покрывалом на траву, наклонил ольховые ветки, распушил молоденькие березки. Ботинки скользили, чавкали по жиже. Партизаны тихо переговаривались:

— Не к добру, братцы, все это.

— Может, комар сгинет, проклятущий…

— Дождь и снег в дорогу — добрая примета, чего уж тут…

После полудня на привале в деревне Машезеро Виктора окликнул Кравченко. Он ехал на лошади, сидел горбатым коршуном, как старый кавалерист.

— Поступаешь в мое распоряжение. Будешь моим ординарцем, в общем, при штабе. Тимофееву я сказал. Бросай свой сидор в кузов и гляди за имуществом.

В полуторке, запаленной патронными цинками, ящиками с продуктами, мешками с овсом для лошадей, ехали медленно, с долгими остановками, то и дело поджидая колонну.

Через два дня прибыли в Березово. Тут все говорило о близости линии фронта: на холме горбились дзоты, справа змеились замаскированные траншеи.

Передохнув, отряд сделал еще один переход к речке, к «обороне» — так партизаны называли последний полевой оборонительный рубеж. Тут стояла бригада Горохова, а где-то рядом с ними заняли оборону части 27-й стрелковой дивизии.

Мост через речку заминирован, на том берегу лес спилили, нагромоздили завалы, за ними сделали минные поля. Слева и справа от моста на горушке — окопы, траншеи, блиндажи. Все по-хозяйски прикрыто дерном, ветками.

Дали день на отдых. После холодов установилась жара. Гороховцы истопили баньку, Кравченко уступил просьбе молодежи — разрешил искупаться в реке, хотя вода была еще холодная. Миша Пастернак, Леша Скоков, Володя Дешин ныряли с поваленной ели, барахтались, плавали наперегонки, брызгались. Виктор разделся в сторонке, разбежался, белой ласточкой полетел в темную воду, поплыл к своим. Те приняли его как равного, правда, чаще других подбрасывали вверх с «креслица» — со скрещенных квадратиком рук.

Утром, молчаливые, сосредоточенные, перешли временно разминированный мост и углубились в лес.

Шли цепочкой, придерживаясь заросшей тележной колеи. В

середине колонны тащился обоз из пяти саней — по бездорожью, по мелколесью, по болоту лучшего транспорта не придумаешь. На санях везли пятидневный запас продовольствия на все 134 человека. Полуторку, как всегда, оставили на «обороне».

Впереди двигалась головная походная застава — целых два отделения во главе с помощником отряда по разведке Червовым, партизаном смелым, опытным. По бокам и в тылу тоже было охранение. Шли уверенно, хотя и осторожно.

Комары черным дымком брызгали из-под ног, клубились над головами, заползали в уши, в ноздри. Затрещали вдалеке вспугнутые сороки. Виктор встревожился, завертел головой. Кравченко, позади которого шел Виктор, чертыхнулся:

— Сороки-белобоки все видят. Ты пропуск запомнил, пароль наш?

— Мушка — Москва, — четко выпалил Виктор.

— На случай, если отстанешь или еще что… Все же в тылу у них. Тяжело? Вещмешок еще не замучил?

— Ничего, товарищ командир. Как начинает давить на плечи, я стараюсь про другое думать, жизнь довоенную вспоминаю, дружков с нашего двора, про то, как жили мы славно когда-то.

А плечи ныли, хотя по совету Алеши Скокова Виктор сделал лямки из широкой ботиночной обмотки.

К вечеру добрались до сожженного хутора. Виктор едва стоял на ногах, но без команды не садился, поглядывал на Кравченко, а так хотелось упасть в высокую, душистую траву, раскинуть руки и закрыть глаза.

Поужинали, перемотали портянки, поспали до полуночи и снова вперед. Шли всю ночь и утро, растянувшись длинной вереницей, перебрались через большое болото. Вышли на твердь, устроили дневку. Ночью двинулись дальше, а тут снова болото. Когда были на его середине, послышался рокот самолета.

— Воздух! — прокричал Кравченко.

Виктор примостился за большой кудрявой кочкой, накрылся, как учили, защитной плащпалаткой, но страшно хотелось высунуть нос, поглядеть на самолет, хотя бы вхолостую клацнуть по нему из карабина. Вдалеке захрапела лошадь. «Как же ее-то спрятали? — подумал Виктор. — А может, с высоты решат, что лоси. Да что этот самолетик сделает нашему отряду!»

Самолет улетел и больше не возвращался. Значит, не заметил, сошло. Снова побрели по щиколотку в воде, хлюпая раскисшими ботинками. Впереди поднялась возня, крик, ругань — увязла лошадь, вытаскивали всем миром, еле вытащили.

Когда припекло солнце, выбрали высотку, продуваемую ветром, где поменьше комарья, сделали дневку. Виктор забрался

в толстый мох, сидор кинул под голову, обнял карабин и заснул мгновенно. Спал долго, еле-еле растормошил его комвзвода Тимофеев.

— Э, браток, так и царство небесное проспишь. Пойдем к нам, ребята зовут.

У костра сидели все такие знакомые, такие родные — Иван Жердев, Василий Афанасьев, Таня Родина, Василий Кюршунов. Виктору стало не по себе, будто бросил он их, изменил. Словно угадав его мысли, Тимофеев засмеялся, ткнул кулаком в плечо, заговорил:

— Да ты не тушуйся, Витек. Этих рейдов знаешь еще сколько у нас с тобой будет! В следующий пойдем вместе, не отдадим тебя никому, честно! А сейчас, первый раз, тебе надо осмотреться, командир правильно решил, чего тут говорить. Побудь при штабе, дело нужное.

— Лапшевничка ему, лапшевничка, — заторопился Петя Емельянов, протягивая котелок. Но Витя степенно взял кружку чаю, выбрал кусочек колотого сахара поменьше.

— Совсем не страшно, — сказал он. — Будто нет войны, будто у себя дома.

— А мы и есть у себя дома, это наша земля вокруг, — засмеялся политрук Березин, подмигивая партизанам.

— Да нет же, вот идем себе, и никто не стреляет, врагов не слыхать и не видать. Может, вот так походим да и вернемся ни с чем?

— Э нет, браток, — дохнул сизым дымком «козьей ножки» Тимофеев. — Во-первых, ты зря думаешь, что они не слышат и не видят нас. Надо всегда исходить из того, что враг тебя уже обнаружил. Конечно, передвигаемся мы по всем правилам партизанской науки, но нельзя исключать, что где-то рядом рыскает их разведка. Пока идем всем отрядом — попробуй возьми нас. А вот когда разойдемся повзводно, мобильными группами, пойдем на горячие дела, тут глядеть и глядеть надо. Разведки надо, браток, опасаться. Может, вот ты сейчас у них на мушке.

Виктор неожиданно для самого себя пригнулся, закашлялся, чай пролился на галифе, ожег ногу. Все засмеялись, а Витя залился румянцем.

— Взять хотя бы самолет, — заговорил Березин, — летел-то он высоко, но мог заметить, предупредить. Так что, Витек, не беспокойся — будет и порох и дым, увидишь, когда начнем громить гарнизоны.

Но увидеть всего, что произошло тем жарким июлем, Виктору не пришлось…

Виктор вернулся к штабному костерку повеселевшим. Радист

Прохоров спал, и Виктор решил сварить ему кашу из пшенного концентрата — они были с ним в одной паре, ели из одного котелка: в одном варили кашу, в другом чай заваривали. Прохоров проснулся враз, тронул на боку наган, пружинисто поднялся, небрежно отмахнулся от комариной тучи:

— Пойдем умоемся, а, Витек? У меня от комарья да от сна морда как подушка. Да и ты хорош, вон в волдырях весь. После свежей водицы всегда легче, вот увидишь.

Пошли к озерку, по дороге сбоку вынырнул Кравченко, будто вырос из высокой травы, в мокрой от пота гимнастерке, серьезный, сосредоточенный, — тоже пошел мыться. За ним к воде пришли еще два партизана и дядя Ваня Евстигнеев, все грязные, в земле. Позже Виктор узнал, что делали они тайник, или, как значилось по документам, базу № 2, прятали боевой запас патронов, термитных шаров, толовых шашек, гранат, продуктов — всего партизанам на себе не унести, да и в бой лучше идти налегке. Сюда, к тайнику, будут приходить небольшие группы, брать что требуется, доставлять полные вещмешки своим взводам. А для того чтобы запас в тайнике не иссякал, на базу № 2 обоз будет регулярно подвозить с «обороны» продукты и боеприпасы.

Под вечер Кравченко приказал Прохорову выйти на связь с Беломорском. Радист быстро развернул рацию, Виктор бросился было ему помогать, но тот уже сидел скрючившись над станцией и, прижмурив глаза, работал ключом. Тем временем Кравченко собрал командиров взводов Коросова, Гостева, Тимофеева, Белякова. Они стали что-то обсуждать вполголоса, и Виктор деликатно отошел к Прохорову. Возможно, они прикидывали, где разойдутся их взводы по маршрутам и будут действовать самостоятельно, возможно, еще раз уточняли день и место сбора. Совещание было коротким, тут же Кравченко отдал приказ выступать. Впереди решающий переход, скоро в бой.

Виктор затянул лямки сидора, аккуратно переобулся, тщательно намотав портянки, прикрутил обмотки. Попрыгал с вещмешком, полегчавшим за последние дни, — не звенит ли где. Кравченко пытливо поглядел на него, записывая что-то в маленький блокнот. Потом он встал, разогнал складки гимнастерки под ремнем, подошел к Виктору.

— Мы вот что решили с Бесперстовым: дать тебе два серьезных поручения.

— Я что, не иду со всеми?

— Повторяю, два поручения. Отныне ты, боец Константинов, поступаешь под начало партизана Евстигнеева, с обоза.

— Я не пойду вперед?

— Не перебивай старших! — прикрикнул Кравченко. — У Евстигнеева нет ездового. Он тебе выделит лошадь, повезешь на санях больную медсестру Северьянову. Отвечаешь за нее головой. Второе задание. Запоминай. На «обороне» пойдешь на пост ВНОС. Вызовешь «Тайгу». «Тайга» ответит — вызови «Гору». «Гора» ответит — вызови «Прибор». Передай «Прибору»: высылайте шахматы и шашки.

Виктор стоял, опустив голову, мешок тянул назад, лоб покрылся капельками пота. Кравченко еще раз перечислил все позывные.

— Повтори.

— Не пойду назад, — прошептал Виктор, сжимая зубы.

— Я тебе не пойду! Ты знаешь, что бывает за невыполнение приказа на фронте? Знаешь? Смирно! Стань как положено, когда с тобой разговаривает командир.

Виктор распрямился, шмыгнул носом, поднял глаза. Губы его мелко вздрагивали. Кравченко поправил свою пилотку, потом его рука потянулась к пилотке Виктора, он поправил и ее, положил руку на плечо, усмехнулся. Постояли еще немного молча, глядели, как Прохоров сворачивал провод антенны. Виктор изо всех сил сдерживал слезы.

— Еще повоюем, сынок, — сказал Кравченко. — Ну будь, гляди в оба. — Он крепко пожал руку Виктору и не оглядываясь пошел к штабному костерку, бросив на ходу — Сейчас мать придет — попрощайся.

Мама прибежала веселая, довольная. Виктор понял, что она уже знает обо всем.

— Вот и хорошо, навоюешься еще. Зимой на лыжах пойдем, только ветер засвистит в ушах. Зимой комаров нет, зимой славно. — Она обняла его, что-то говорила еще, утешала. Виктор не слушал, слезы застилали глаза, комары жалили в лоб, в щеки, мама бойко отгоняла их березовой гибкой веточкой.

— Медсестра Константинова! К военфельдшеру! — крикнули впереди.

Виктор побежал за матерью, ноги его, враз отяжелевшие, заплетались в длинной траве. Мать легкой тенью убегала по еле заметной тропке, оглянулась последний раз, подняла руку с березовой веточкой, поправила на поясе кобуру и скрылась в лесу. Вдалеке закуковала кукушка, Виктор считал-считал и сбился со счету…

…Сани медленно ехали друг за другом. На передних— дядя Ваня Евстигнеев, за ним партизан Оргин, еще два возчика, на последних розвальнях — Виктор с больной медсестрой. Она металась в жару, сбивала в кучу траву, которую рвал Виктор на

остановках, билась головой о голые доски. Виктор привязывал ее старыми вожжами, но ничего не помогало — сани мотало по бездорожью. Второй день она то приходила в себя, то снова впадала в забытье. Виктор поил ее чаем, пытался кормить кашей с ложечки, хотя она упрямо закусывала губы, зажмуривала глаза. Комары жгли ее красивое опухшее лицо, но она ничего не чувствовала. Виктор, сгорбясь, не выпуская из рук вожжи, шел слева, косился по сторонам, карабин с загнанным в ствол патроном висел на плече.

Обезножевших, усталых пятерых обозников взять не так уж трудно; они это понимали и ехали без длительных привалов, без сна, только бы скорее добраться к своим. И все же, выбившись из сил на болотах, один раз сделали дневку, распрягли лошадей, сами забились под кусты и, забыв обо всех опасностях, заснули.

Мучительным был путь через болото, а тут новое испытание: впереди горел, дыша зноем и дымом, лес. Ольховые листья, свиваясь в трубочку, летали, как пули, лошади шарахались, храпели, грозно гудело пламя. Больше часа они пробивались сквозь дым и огонь, боясь потерять дорогу, сев верхом на дрожащих, перепуганных лошадей.

На «обороне» они сдали больную в санчасть, Виктор еле доплелся до партизанского блиндажа, взгромоздился на ящики с патронами, отказавшись от крепкого чая, заснул спокойным сном.

…В 1974 году в Петрозаводске проходила очередная встреча партизан. Вечером на банкете в кафе «Юность» Виктора усадили рядом с невысокой незнакомой женщиной. Ему хотелось сидеть со своими близкими друзьями, но ему прямо приказали развлекать гостью, приехавшую из дальних мест. Поневоле разговорились, соседка пытливо вглядывалась в лицо Виктора.

— Летом сорок второго в походе я заболела, — начала она тихо. — Меня вывезли из леса, проболела я немало. Я сейчас кончу, уж вы потерпите… На такой встрече я впервые, почти никого не знаю. Так вот, вывез меня перед боем не совсем обычный партизан, мальчик, сын нашей любимой медсестры. Часто я о нем вспоминаю, помню, как он траву мне под голову подкладывал, как чаем поил…

Виктор молчал, нервно разглаживая чистую скатерть перед собой.

— Ну что, поговорили? — улыбнулась сидевшая напротив Полина Михайловна Кузьмина, работница партийного архива, занимавшаяся партизанским движением. — Теперь вы поняли, Виктор Петрович, с кем я вас посадила?

— Да, тем мальчиком, видимо, был я…

…Виктора тянуло к бойцам бригады Горохова. Он подружился со старшиной Юрой Прониным, курским большелобым пареньком. Виктор учил его ловить рыбу, а тот показал, как бросать гранату, взял с собой на стрельбище и дважды разрешил кинуть из окопчика настоящую гранату, правда, без «рубашки», чтоб полегче. Вначале взрыв оглушил Виктора, ему показалось, что он оглох на правое ухо. Пронин смеялся, но был доволен: гранату Виктор швырнул не труся, с прицелом, далеко. Потом Пронин давал еще стрелять из своего новенького автомата по мишени. Тоже вышло неплохо.

— Да ты пуляешь получше моего Кустикова, — кричал задорно старшина. — Знаешь, небось: здоровяк такой, говор у него вологодский, два котелка пшенки съел вчера и не кукарекнул. Я б тебя, паря, взял к себе, ей-ей не вру, науку ты армейскую разумеешь, я видел, как ты по-пластунски можешь, чисто ящерка. Ты к мосту нашему это зачем подползал? — спросил он вдруг серьезным голосом.

— Так, интересно.

— Там пулеметчики мои сидят, по шеям накостыляют.

— Не накостыляют. Дважды подползал — не учуяли.

— Молодец, однако. А своим я задам, чтоб не дремали.

22 июня дядя Ваня стал готовить обоз в новый путь. Он позвал Виктора и заявил, что тот остается на «обороне» нести караульную службу. Разговаривая с Виктором, он сосредоточенно, медленно выводил буквы, писал их наоборот, поставив перед бумагой осколок зеркала, составлял реестр всей поклажи. Это была шифровка, которую, по задумке дяди Вани, не разгадает даже самый хитрый враг.

На «обороне» Виктор ходил за лошадьми, кормил их, купал, рвал траву, а главное, вместе с высоким, худощавым дядей Костей Петровым охранял продовольственный склад — блиндаж, вырытый на горушке в сосновом бору. Спали посменно, днем жгли костерок, кипятили чай, варили гороховый суп из концентрата, беседовали. Стояли душные, совсем не северные жаркие дни.

Обычно ночью у склада дежурил дядя Костя, днем — Виктор. Иногда менялись часа через три. В тот памятный полдень Виктор готовил на костре обед, дядя Костя отсыпался в блиндаже. Партизан Иван Севостьянов, у которого была своя особая задача — охотиться на лосей и доставлять солонину на базу № 2, после удачной ночной охоты рыбачил с лодки на озере. Со своей горушки Виктор видел его черный силуэт на искрящейся ряби, завидовал, как тот то и дело вскидывал вверх удочку. И вдруг

откуда ни возьмись низко над озером появился самолет. Он дал очередь по Севостьянову, по мосту, по траншеям.

— Гаси костер! — закричал выбежавший из блиндажа дядя Костя. Разметав ногой головешки, Виктор прянул к толстым соснам, прижался к теплому стволу. Самолет заходил на второй круг. Он летел так низко, что Виктор, выглядывая из-за сосны, хорошо рассмотрел лицо стрелка, целившегося из пулемета в их костер. Пули вжикнули за спиной, вспороли совсем рядом листву. Еще один заход, еще очередь…

Когда самолет улетел, к блиндажу прибежал мокрый Севостьянов:

— Лодку пробил, дьявол. Затонула. Ну я, значит, за борт, часы карманные воды напились, стали, вот беда какая!

Виктор все никак не мог перевести дух, поискал глазами следы пуль у костра, но ничего не нашел. Ночью он трижды просыпался в липком поту, вслушивался в ночную тишину.

Однажды во время дежурства поздним вечером Виктору показалось, что за деревьями кто-то прячется. Он передернул затвор винтовки, мигом растормошил дядю Костю, прикорнувшего у погасшего костра, и они крадучись обошли блиндаж, подползли к ближним могучим соснам. Никого не было.

А в полдень гороховцы подняли стрельбу, побежали на помощь своему боевому охранению и привели к штабной землянке вражеского разведчика; двое других, с их слов, были убиты в перестрелке.

Виктор глядел на лазутчика во все глаза, впервые он видел вот так рядом врага, захватчика. Тут же лейтенант с помощью переводчика стал его допрашивать. Разведчик не таился, отвечал, что их задачей было разведать линию охранения русских, взять толкового пленного, сказал, что ночью вон у того дальнего блиндажа они видели часовых — мальчика и старика…

Виктор понял его прежде, чем перевел переводчик. Значит, он не ошибся сегодня ночью, значит, он и дядя Костя были на волосок от смерти!

Лейтенант покосился на Виктора, он видел его не раз с Прониным, покачал головой, поняв, кого имел в виду пленный. В руках у лейтенанта был финский нож, отобранный у разведчика. Он расстегнул кнопочку на ножнах, потянул рукоять к себе — сверкнула чистая голубоватая сталь, полюбовавшись лезвием, спрятал его в ножны, провел пальцами по тисненному на коже золоченому льву с кинжалом в лапе. Виктору так хотелось иметь такой нож, и лейтенант, словно поняв это, снова укоризненно покачал головой, усмехнулся.

Совсем скоро Виктору подарят почти такой же нож его

друзья, вернувшиеся из похода, подарят как память о первом рейде Виктора.

…Медленно тянулось время на «обороне». Голодные, измученные вышли к мосту Володя Дешин с товарищем, который хромал — открылась старая рана на ноге — и дальше идти не мог. Они несли в штаб партизанского движения при Военном совете Карельского фронта донесение Кравченко о действиях отряда, о том, что необходимо срочно выбросить самолетом продукты, патроны и питание для рации одному из взводов, оказавшемуся в глубоком тылу врага.

— История повторяется, — разлепил запекшиеся губы Дешин, — мы шли теми же тропами, громили врага там, где двадцать лет назад сражались легендарные лыжники Тойво Антикайнена.

Густые волосы Володи свалялись в войлок, лицо чернее земли, глаза горели злым, жестоким огнем. Виктор засуетился, хотел накормить его кашей с тушенкой, напоить чаем, хотел согреть воду, чтобы тот помылся, но Дешин спешил. Володю словно подменили: перед Виктором сидел другой, постаревший, молчаливый человек. Быстро выпив чай, он как-то неловко, словно раненый, достал из внутреннего кармана пиджака сложенный вчетверо листок. Это было письмо мамы, наспех нацарапанное карандашом.

«Сынок! Я не верю ни в какие предчувствия, но на душе у меня очень тоскливо. Неужто с тобой что-то случилось? Все мне кажется, что вы напоролись на мину или попали в засаду. У нас дела идут нормально. В походе, конечно, не легко, ты уже потаскал сидор, знаешь. Скоро мы с тобой свидимся, я все тогда подробно расскажу о наших боях. Береги бабушку. Крепко тебя целую. Мама».

Виктору показалось, что записка пахнет матерью, ее руками, земляничным мылом. Он хотел спросить Дешина, когда мама написала это письмо, но тот уже был далеко. Путь его неблизкий — на попутных до Беломорска, и надо добраться туда как можно скорее, каждый час может стоить жизни его боевым друзьям, тем, кто укрылся от наседающего врага в болотах, кто умирает от голода и от ран.

В конце июля, сделав последний рейс на базу № 2, обоз возвратился на «оборону», а затем выехал в Лехту. С обозом приехал и Виктор. Он прочитал коротенькое письмецо бабушки — там все было благополучно, стал смотреть газеты. И сразу же замер, увидев большую статью «Как партизаны нашего отряда разгромили гарнизон белофиннов в селе Кимасозеро». Под

статьей стояла подпись: «Партизан Владимир Д.». Конечно же, это Дешин, он же говорил, что их взвод бился в тех местах!

«Мы не спали уже вторые сутки, — читал Виктор. — Но никто не замечал усталости.

— Вперед! На Кимасозеро!

Сознание этого воодушевляло каждого — и командира, и рядового партизана. Наша партизанская группа решила смелым, неожиданным, дерзким налетом ворваться в село и уничтожить гарнизон, изгнать из Кимасозера поганых фашистов, которые топчут землю этого овеянного славой карельского села.

…В дом и баню полетели гранаты. Застрочили наши автоматчики. Пламя охватило постройки. Враги заметались, как в мышеловке. Они выскакивали из объятого пламенем дома, но тут же истреблялись метким огнем партизан. Семеро фашистов пустились бежать по плавучему мосту, но их живыми поймали партизаны. Никто из захватчиков не ушел…»

В тот же день из Беломорска приехал и сам Дешин, довольный, постриженный, вымытый, пахнущий одеколоном.

— Все в полном порядке, — сказал он Виктору, дежурившему у казармы. — Меня сам товарищ Куприянов принял, тут же самолет послать к нашим распорядился. Статью мою читал в «Ленинском знамени»? Вот так-то, дорогой товарищ часовой! Есть еще новость у меня, можешь поздравить: там, под Кимасозером, прямо перед боем меня приняли в партию.

Много чего порассказал Дешин Виктору вечером, потом повторял и дяде Ване Евстигнееву, и другим, сменившимся с постов.

Вскоре из Березова пришло известие: отряд возвращается домой. Виктор поджидал их далеко за околицей, полдня выглядывал. Наконец-то! Он побежал им навстречу, размахивая пилоткой. Шли они худые, обросшие, молчаливые. Виктор что-то говорил, совал руку приятелям, здоровался, но с ним почти не заговаривали. И он не обижался, понимал: устали, не до него. Но почему не видно Тимофеева, его ребят? Он подбежал к Леше Скокову, стал стягивать с него тощий сидор.

— Где мама?

— Понимаешь, друг, ее ранило. Она там… В Березове ее оставили… Скоро привезут. Кравченко все скажет…

— А где Тимофеев? Где Березин? Ребята мои где?

Леша молчал, а потом нескладно, скороговоркой, запинаясь, кто-то еще сбоку подсказывал ему, рассказал о гибели взвода Тимофеева.

Разгромив на дороге Кочкома — Реболы вражескую группу самокатчиков (велосипедистов), забрав у них ценные документы,

оружие, уничтожив два пролета телефонно-телеграфной связи в семь проводов, взвод отошел в лес, но не столь далеко, как было принято по негласным партизанским правилам. Отошли всего на шесть километров. Сильно уставшие в походах, измученные долгим ожиданием в засаде, тимофеевцы устроили привал. Расположились в низине, у озера, что тоже не по правилам. Застигни их противник на горушке, на кряже, они могли бы успешно отразить атаку и выйти из окружения. Был бы маневр, место для круговой обороны. Поисковая группа обозленных финнов — она была раза в четыре больше взвода Тимофеева, — пройдя с овчарками по следу, незаметно окружила их с трех сторон в низине, прижала к озеру. Завязался смертельный бой. Партизаны умирали как герои, стремясь уничтожить как можно больше врагов. Выйти из окружения удалось немногим.

…Летом 1977 года, ровно через 35 лет после гибели взвода Тимофеева, ветераны «Красного онежца» приехали на Ребольскую дорогу к памятнику погибшим партизанам. Памятник тот на обочине дороги воздвигли комсомольцы Онежского тракторного завода. Цветы к обелиску несут Кравченко, Захаров, Червов, Коросов, Минин, Майорихина, Константинов… В суровых глазах слезы. Из чащи леса, где случился тот жаркий, последний бой, доносится неистовое пение птиц. Тишина. И вдруг молодой, высокий паренек, Валерий Михалко — заместитель секретаря комитета комсомола завода, звонким голосом начинает читать свое стихотворение:

Взвод погиб. Не дошли, не допели…
Но их помнят — и память жива.
Здесь в минуте скорбящей застыли
Их товарищи и друзья…

Последним от памятника, от святого этого места, уходил Константинов. Еще раз он перечитал все девятнадцать дорогих фамилий, поклонился и, горбясь, пошел к ожидавшему его автобусу.

…— Мстить им надо, крысам поганым, — закончил свой рассказ Скоков. — Мстить, пока сердце наше молотит в груди. И тебе, Витек, пора свой счет открывать. Ох как пора, — прошептал он и заскрежетал зубами. Больше Скоков ничего не сказал. У входа в казарму к Виктору подошла Оля Майорихина, она обняла его, тихонько заплакала.

Ночью Виктор заступил на пост, утром сменился. Только лег отдыхать, как его разбудил дядя Ваня Хренов, завскладом, они спали с ним в одной комнате на длинных нарах.

— Вставай, браток, в штаб вызывают. Кравченко послал, говорит, дело у него до тебя есть, — сыпал он скороговоркой, отводя глаза.

Виктор подхватился, стал натягивать гимнастерку.

— Да ты не торопись, успеется.

— Разговорчики, дядя Ваня, — засмеялся Виктор. — Командир отряда лично вызывает, не шутка, всего второй раз в жизни…

— Обед у нас нынче знатный будет, — перебил его дядя Ваня. — По случаю возвращения отряда приказано дать лучшие продукты…

Виктор чиркнул зализанной щеткой по носкам ботинок, туго затянул пояс, лихо сдвинул пилотку набекрень, улыбнулся сам себе в зеркало и побежал.

В штабе пахло сладкими трофейными сигаретами и махрой, винтовочным маслом. У стола сидели комиссар Бесперстов, начальник штаба Подругин, секретарь парторганизации Серов. Кравченко, заложив руки за пояс, стоял у раскрытого окна.

— Товарищ командир, боец отряда «Красный онежец» Константинов прибыл по вашему приказанию.

— Садись. Как дела? — громко спросил Кравченко, шагнул вперед, но, мотнув головой, вдруг опять повернулся к окну. Все молчали, слышно было, как трещит махорка в самокрутке у Серова да где-то далеко долго-долго кукушка вещает вечную жизнь.

— Давай, Илья Петрович, я не могу, — хрипло сказал Кравченко, обращаясь к Серову.

— Семнадцатого июля в бою у деревни Лувозеро твоя мама Ольга Федоровна, смелая медсестра нашего отряда…

Земля будто качнулась, все перед Виктором заволокло туманом. Пилотка соскользнула с наклонившейся головы, подхватив, Виктор уткнулся в нее лицом да так и не отнял до конца разговора.

— И померла она у нас на руках…

— Мы часов одиннадцать несли ее на носилках.

— Вот, в рапорте начальнику штаба партизанского движения Карельского фронта мы написали: «В операции по разгрому гарнизона Лувозера отличилась медсестра Константинова, смело под огнем противника бросилась оказывать помощь раненому политруку взвода Коносову», — прочитал Бесперстов.

— Ты поплачь, поплачь, сынок, легче станет.

— Мы тебя, Виктор, не бросим. Ты нам теперь родной сын, сын героического партизанского отряда. Держись, товарищ Константинов.

— Плохие вести мы тебе принесли, — сказал Кравченко. — И взвод твои погиб почти весь, и мать вражья пуля скосила. Каких людей теряем!

Помолчали. Виктор сидел не двигаясь, только чуть вздрагивали худые мальчишеские плечи.

— Коросов берет тебя, Витя, к себе, взвод у него тоже боевой, — заключил Кравченко, крепко обнимая Виктора.

Не выбирая дороги, побрел Виктор в лес. Вернулся к вечеру. В комнате его давно поджидал военфельдшер Николай Минин, стройный паренек в очках, начальник санслужбы отряда.

— Все наши девушки ее уважали, как мать родную. И не потому, что она была самая старшая, а человек она правильный, добрый. Никогда словечка поперек не скажет. Сидор тащит, сумку еще у Настеньки или у кого другого возьмет, да своя на боку. А сумка санитарная тоже будь здоров — шесть кило. Пулям она не кланялась, смелая была. К раненому первая бросится, не раздумывает. По ней уж стреляно-перестреляно было, да все мимо… Ну так вот, подошли мы к Лувозеру. Сутки в лесу сидели притаившись, разведку к селу послали, пошли ребята из взвода Гостева, ждем, готовим с пей бинты, повязки, носилки смастерили на всякий случай. Они-то ей, бедной, и понадобились. Приходит разведка, докладывает: жителей мирных нет, все вывезены, квартирует один гарнизон, человек пятьдесят. Нападать надо днем — ночью у них усиленные посты, дежурят в траншеях у пулеметов, а днем спят. Вот и поползли мы после полудня, окружили село, домов двенадцать было, где гарнизон жил. Они, понятное дело, не ждали нас. Четверо дрова пилили, несколько захватчиков у стола сидели перед избой — оружие чистили, чуть поодаль, у озера, трое сети распутывали, один уже в лодке сидел — на рыбалку собрались, дери их в корень. Остальные в домах похрапывают, к ночи готовятся. Ну, а мы ползем, уже меньше ста метров до них, а команды все нет. Еще ползем. Им теперь отходить только к озеру, да там мы их быстро перещелкаем.

— Огонь!

Застучали пулеметы, автоматы, гранаты полетели в окна. Что тут началось! Все дома под огнем. Кравченко, Пастернак, Дианов, Ольга Федоровна и я забежали за большой дом, ведем огонь. В соседнем доме вдруг опомнились и давай поливать по нашим. Подбегает к нам политрук взвода Дмитрий Коносов, вставил новую обойму в пистолет и бросился к этому дому. Выбежал на

улицу, ну прямо вот перед нами. Тут его в грудь и ударило. Схватился рукой за сердце и упал навзничь. Ольга Федоровна птицей к нему, бежит, на ходу сумку открывает. Вдруг очередь автоматная, и она рядом с Димой осела. Мы из автоматов по чердаку, гранату кто-то бросил. Затихло в доме. Наши скосили тех, кто на островок стал вплавь перебираться. Через десять минут в селе стояла уже мертвая тишина, в полном смысле мертвая, все было кончено. Ни одна вражья душа не спаслась. Подобрали мы Коносова, Ольгу Федоровну, я сделал им перевязку. Коносова уложили в лодку, чтоб через озеро, а Олю на носилки и стали уходить. Первым умер Коносов. Утром умерла твоя мама. Похоронили ее на берегу реки Кондоки, у больших порогов. Такие дела, Виктор. Понимаешь, она как бы чувствовала свою смерть. Лежим мы на дневке, когда разведку ждали, сварили загусту, знаешь — эту затируху из муки, она ложку ко рту поднесет и не хочет: ком, говорит, в горле. Вдруг откуда ни возьмись — воронье, летает над нами, круги пишет. «Вот, Коля, гляди, — говорит она. — Чует мое сердце, глаза кровавым бинтом будто кто заслоняет. Сохраните Витюшку, не для детей война! Пусть подрастет, пусть хоть глоточек из ковша жизни отопьет, пусть девушку милую полюбит. За себя не боюсь, за него страшно мне…»

Минин замолк, полез в карман за носовым платком.

— Вот, браток, все как было рассказал, ничего не утаил. Тебе больно, и нам больно всем…

— Северьянову я доставил в санчасть, как приказало, — глухо сказал Виктор.

— Спасибо, знаю. От всей нашей санслужбы благодарность тебе. Мать очень гордилась, что тебе доверили везти ее. Жизнь человеческую тебе доверили, как взрослому, как настоящему партизану. Ты заходи к нам, мы тебя завтра ждем, блинов девушки напекут, самовар поставим, Ольгу Федоровну помянем по русскому обычаю…

После недельного отдыха пошла обычная жизнь. В шесть утра подъем, наряды, караульная служба, учеба, политзанятия, кинофильм или концерт в клубе, вечерняя поверка.

Однажды в красном уголке Бесперстов собрал открытое партийное собрание — приехал представитель политуправления Карельского фронта первый комиссар «Красного онежца» Владимир Ильич Васильев. Это была задушевная встреча. Васильев обрисовал обстановку на фронте, рассказал о славных делах партизан Белоруссии, Украины, о том, как бьют захватчиков другие партизанские отряды Карелии, назвал многих отличившихся бойцов отряда «Красный онежец».

После его доклада стали выступать партизаны. Говорили многие, каждое слово шло от сердца. Виктор тоже поднял руку.

— Прошу дать возможность отомстить за смерть моей мамы. Прошу больше не оставлять меня в тылу, в Лехте. Хочу идти вместе со всеми и бить врага…

Горло сжало, он попытался проглотить тугой комок, но не смог и сел. Васильев молчал, нагнув голову. Он знал Виктора еще до войны, помнил Ольгу Федоровну и сейчас впервые услышал о ее смерти.

— Мы тебя понимаем, Виктор, — сказал тихо Бесперстов. — Чувства эти близки всем нашим бойцам, и все мы будем мстить за Ольгу Федоровну, за славных героев-тимофеевцев, за других, кого сегодня нет с нами. Но бить врага, Виктор, будут взрослые, а ты помогай им, как помогал до сегодняшнего дня. Понял?

Во второй половине августа отряд снова выступил в поход по вражеским тылам. Виктору же дали десятидневный отпуск для поездки к бабушке в Беломорск.

Там он пробыл педелю, заскучал и вернулся в Лехту. Охранял склады и казармы, ждал возвращения отряда. Времени было много: перечитал тоненькие книжечки — приложение к журналу «Красноармеец», старые газеты, что лежали в красном уголке. Жил как все, кто был оставлен в Лехте, подчиняясь общему распорядку, жил на виду, и все же была у него тайна.

Иногда по вечерам наваливалась тоска. Он ложился на нары, укрывался с головой, пытался заснуть. Потом начиналось что-то странное: слышались чужие голоса; колыхались бегущие фигуры, размытые, словно в тумане; рвались вперед, наклонив к земле оскаленные, вспененные пасти, черные овчарки. Виктор поворачивался на другой бок, но видение не уходило, и он сползал с нар, вглядывался в темные углы комнаты, ощупью доставал из вещмешка гранату, подаренную Прониным, хотя у него были свои законные партизанские «лимонки». Запала в той гранате не было, зато была рубчатая чугунная рубашка, и граната стала тяжелой, удобной для броска. Совал ее за пояс, туда, где уже висел финский нож, подаренный Скоковым в черный памятный день, и выходил.

У самого леса стояла брошенная карельская изба, за ней гребенкой высились ели, четко пропечатываясь на кровавом закате. Подходя к избе, Виктор преображался, теперь он шел тихо, как моросящий олонецкий дождик. У крыльца замирал, прислушивался. «Они» пели! Они горланили, как всегда, бойко подыгрывая на губных гармониках. Виктор не торопясь доставал гранату, резко поворачивал ручку — ставил на боевой взвод и рывком открывал дверь в сени. Граната летела в черную

пустоту. Выждав мгновение, Виктор проскальзывал в сени и, распрямляясь, изо всех сил вонзал нож в старый армяк, висевший на гвозде слева у входа.

— Вот вам, вот вам, — шептал он, взмахивая еще и еще раз ножом.

Острая сталь пробивала ветхую одежку, входила в. трухлявую бревенчатую стену. Отдышавшись, Виктор ощупью находил свою гранату и, скользя вдоль сеней, входил в просторную кухню. Ногой ударял в дверь — за столом в горнице сидели «они». Четверо, пятеро, десять!

— Руссише партизанен! Доннер веттер! Перкеле!

— Та-та-та! — стрелял Виктор из «автомата», схватив аккуратную лопату, которой сажали хлебы в русскую печь.

А по горнице метались перепуганные офицеры в серебряных узких погончиках, с черно-белыми крестами на кителях мышиного цвета. Нож Виктора летел, посверкивая, словно огромная стрекоза, и попадал прямо в заплывшую шею толстого офицера — таким он представлял себе коменданта Лувозерского гарнизона…

Дни проходили в тревожном ожидании. Когда же придут, когда? Все ли хорошо? Снова Виктор встречал отряд за околицей. Потом топил баню, слушал рассказы, бегал в клуб узнавать, будет ли завтра кино и какое, помогал готовить на кухне праздничный обед, разносил по комнатам письма.

С первым снежком в Лехту приехали член Военного совета Карельского фронта Куприянов, начальник штаба партизанского движения Вершинин. Их встречали полковник Горохов, капитан Кравченко.

В клубе собрались партизаны отрядов «Красный онежец» и «Вперед», был митинг, награждение отличившихся в боях.

Кравченко и политрук взвода из отряда «Вперед» Инниев получили ордена Красного Знамени. Владимир Дешин, Алексей Скоков, Михаил Захаров — ордена Красной Звезды. Ивану Евстигнееву вручили медаль «За отвагу».

Виктор стоял на посту у пулемета около крыльца клуба вместе с расчетом отряда «Вперед». Он не слышал, как произнесли фамилию матери: наградить орденом Красной Звезды посмертно…

После митинга приехавший из Беломорска фотокорреспондент Анкудинов фотографировал их всем отрядом. Витю Константинова и Лешу Скокова, самых молодых, подозвал Куприянов, усадил рядом…

Как хотелось Виктору послать бабушке такую фотографию,

пусть увидит своего внука! Но нельзя — военная тайна. Хотелось подробно написать ей о делах отряда— нельзя.

Дорогая бабушка! Живу я хорошо, интересно. Приезжал к нам писатель Линевский, записывал рассказы наших партизан для истории. У меня ничего не спрашивал, кто я, чем занимаюсь в отряде. Конечно, его интересовали настоящие герои. Хотя и твой внук…

Тут Виктор задумался, отложил в сторону карандаш. Если бы можно было бабушке рассказать, что и он бывал не в одном переплете.

Недавно ночью их отряд подняли по тревоге, сказали, что в наш тыл проникла вражеская разведгруппа. Партизаны встали на лыжи и быстро двинулись в сторону озера. Перейдя его по проторенной лыжне, разделились на три небольших отряда. Самый большой пошел прямо, отделение из трех человек, в которое входил Виктор, свернуло направо. Лунная безмолвная ночь. Прошли лесом километра три-четыре. Старший приказал Виктору осмотреть противоположный берег заливчика. Виктор пошел вперед. За каждым деревом ему чудился диверсант, мурашки забегали по спине. Осмотрел берег — никого. Вздохнул, будто камень пудовый сбросил, глянул на луну, обведенную радужным кольцом, засмеялся. Вернулся назад. Подождали основную группу и ранним утром были уже в Лехте.

Виктор спал долго — Леша Скоков попросил, чтоб его не будили. И проснулся он от страшного воя самолета, летевшего над казармой на бреющем полете. Истребители сделали второй заход и открыли огонь из крупнокалиберного пулемета. Пули лопались в бревенчатой стене комнаты, где лежал Виктор. Щепки полетели на нары. Виктор выскочил босиком на снег, увидел, как вдаль уходили два самолета, как им в хвост, приладив ручной пулемет на забор, выпустил длинную очередь Травин…

Виктор взял карандаш, вздохнул и быстро, размашисто написал:

Кормят нас хорошо, лося недавно подстрелили, так что щи едим с мясом. Для тебя я припас маленько сухарей и сахару, передам, если кто из наших поедет в Беломорск. Остаюсь твой внук Виктор.

Ответа долго не было. Наконец прибыл конверт из Беломорска. Виктор торопливо разорвал его — чужой рукой было написано: «Бабушка Матрена Михайловна умерла»…

Зимней морозной ночью «Красный онежец» ушел в очередной поход. Виктор легко скользил на лыжах, не отставал — тяжелый

сидор с другими вещмешками ехал где-то на розвальнях в обозе. Морозец хватал за щеки, ветерок легонько посвистывал над ушанкой, шаг был широкий, уверенный, мужской. На недавних лыжных соревнованиях, в которых участвовал весь отряд, Виктор был пятидесятым, в середине. Серов похвалил его, комвзвода Коросов пожал руку.

Шли знакомым маршрутом, с привалами добрались до Березова, заночевали в пустых домах, крепко натопив печи, назавтра были на «обороне». И опять обидный до слез приказ: бойцу Константинову возвращаться с обозом в Лехту для несения караульной службы.

— Да ведь мы в снегу спать будем, — говорил ему Коросов. — И не день и не два. Тут люди железные требуются, в два счета воспаление какое-либо привяжется.

…На Викторе ладный полушубок, небольшие валенки с отворотами, на голове лихая кубанка. Все подогнано, все новенькое — постарался дядя Ваня Хренов.

— Ты у нас один, сынок. Тебе полагается быть в аккурате, — смеялся он, потирая руки и с гордостью поглядывая на возмужавшего Виктора. — Недаром говорят, военная форма молодцу к лицу!

Вот таким и увидел его 12 января 1943 года приехавший в Лехту Дильденкин.

— Батюшки, не узнать! Вырос-то как, — обнимал он Виктора. — Уже, поди, комсомолец?

— Еще нет, но Миша Захаров, наш комсомольский секретарь, говорит, чтоб я готовился, скоро примут.

— Хорошо, что я сразу тебя повстречал, дело у меня к тебе, — переменил тон Дильденкин. — Принято решение отозвать тебя из отряда. Учиться тебе надо, друг. И еще, запомни этот день, Витюша: позавчера наши перешли в решительное наступление под Сталинградом, началось крушение Германии. Теперь покатим врага, как березовую чурку…

— Николай Александрович, не могу я уехать. Я еще не отомстил, я клятву давал при всех за маму отомстить.

— Отомстишь еще. Отомстишь своей учебой, трудом. На фронте взрослые должны воевать, а не дети. Вот подрастешь ты, поумнеешь и скажешь: как же вы меня, мальчишку, под пули поставили? Дело это, Витюшка, решенное. И не где-либо, а в горкоме партии. Кравченко уже знает, я с ним по телефону говорил. Он тоже с тобой не хочет расставаться, парень хороший, говорит, растет. Ну да делать нечего, давай собирайся, день тебе на сборы…

Быстро промелькнули зимние дни в Беломорске. Полушубок Виктор сменил на черную фуфайку, кубанку — на суконную фуражку: все это выдали ему в его новом доме — школе ФЗО № 4. Учился Виктор старательно, и ему обещали дать недельный отпуск на Первомай — понимали, тянет парня к боевым друзьям. Но на носу были выпускные экзамены, и случай выпал лишь в июне. Съездил — и неудачно: отряд накануне ушел в поход.

Зато на Октябрьские праздники все были в сборе.

— Привет рабочему классу! — кричал Леша Скоков.

— Вырос-то как наш партизан! Кавалер прямо некуда, не подступись! — обнимали Виктора Оля Майорихина и Лена Власова.

— А ну-ка, самовар на стол, девушки, сухари, тушенку, фляжки давайте, — распоряжался Володя Дешин.

— Он у нас теперь командир отделения. Диагоналевую гимнастерку и ремень скрипучий со звездой на пряжке с меня требует, — хохотнул, потирая руки, дядя Ваня Хренов и незаметно запихнул в карман куртки Виктора трофейную плитку шоколада.

Стали расспрашивать Виктора о житье-бытье. Он отвечал степенно, по-взрослому, подбирая нужные, точные слова:

— Токарь я. Вот свидетельство получил, все пятерки. В школе в комсомол приняли, «Боевой листок» выпускал. После ФЗО нас многих на авторемонтный завод взяли. Выполняем заказы фронта — ЗИСы, полуторки ремонтируем. Знаете, какие приходят? Как люди — кому в сердце, кому в ногу осколком попало. К Октябрьским мы, комсомольцы, одну полуторку сверх плана на колеса поставили. Вечерами работали. Живу в общежитии. В столовке не очень сытно, но живем весело, в кино бегаем, был в театре, два раза ходил — очень нравится.

Ужин затянулся допоздна. Принесли баян, крутили патефон. Пришли две незнакомые новенькие медсестры, веселые, розовощекие, танцевали, приглашали Виктора на дамское танго, но тот краснел, опустив глаза, стыдился своих черных рук с обломанными ногтями, разбитых грубых ботинок. Леша тоже отнекивался, не оставлял его, сидел рядом.

— Сколько людей полегло, а войне конца не видно. Скучаю я по тебе, Витек, ты пиши мне почаще. Давай договоримся: будем писать друг другу, куда бы нас ни забросила судьба. Идет?

— Мальчики, что вы никак не наговоритесь? Лешик, давай песню! — дружно запросили девушки. — Хватит вам грустить.

Давайте нашенскую, гитара на стене давно скучает, начинай!

Леша улыбнулся, снял гитару, тронул струны, распрямился и запел. Песню дружно подхватили все, она крепла и ширилась:

Шумят леса, карельские леса,
Партизаны проходят лесами
И творят чудеса,
Мы верим в чудеса,
Которые мы делаем сами…

Весной Виктора пригласили в ЦК комсомола Карелии и вручили направление в школу юнг Северного флота на Соловецких островах.

С каким рвением взялся он за морскую науку! Против фамилии Константинова стояли одни пятерки, он был первым в своей роте рулевых. Витя с товарищами ходил на шлюпке под парусом, учился вязать морские узлы, колол с удовольствием дрова у камбуза, вечерами бегал на репетиции, читал стихи, выступал в концертах вместе с высоким худым юнгой Борей Штоколовым, входил в пятерку лучших лыжников острова.

Юнга Виктор Константинов.

Частенько с материка приходили письма, почти каждую неделю писал Леша Скоков. Он первым поздравил Виктора с освобождением родного Петрозаводска.

Дорогой морячок! С приветом к тебе твой друг Алексей. Хочу описать тебе памятный день нашей партизанской жизни. 8 октября 1944 года в Петрозаводске состоялся парад всех наших девятнадцати партизанских отрядов. Впервые мы все увидели друг друга, увидели и порадовались — какая мощь! Принимал парад Куприянов, командовал парадом Вершинин — все такой же стройный и подтянутый. Приветственную речь сказал нам

председатель Совнаркома Карелии Прокконен. Тридцать восемь месяцев длилась партизанская война в карельских лесах, тридцать пять раз Совинформбюро сообщало на всю страну о наших боевых делах. Мы отвлекли на себя много вражеских частей, сковали их маневр.

Затем выступил товарищ Куприянов. Назвав нас героическими народными мстителями, он прочитал нам веселую бухгалтерию. Выходит, что мы уничтожили немало фашистов, их складов, техники. Есть в том реестрике, Витек, и мои два грузовичка, и никуда тут не деться.

Парад открыл наш «Красный онежец», как самый первый отряд, созданный еще в июле 41-го, отряд, в котором на высоте боевая выучка и дисциплина. К тому оке оказалось, что у нас наибольшее количество удачных боевых операций. За 1164 дня жизни нашего отряда мы совершили 26 походов в тыл врага, прошли 10 тысяч километров и в мороз, и в жару, а больше по болотам под нудным дождем. Да, парад нельзя забыть! Жаль, что тебя не было с нами. Ты, дружище, мог бы по праву стоять рядышком со мной, как бывало…

25 октября 1945 года Виктор Константинов прибыл к месту службы. Торжественно отдав честь флагу, ступил на палубу легендарного гвардейского крейсера «Красный Кавказ». Начал служить на флоте юнгой, а завершил офицером. Был рулевым матросом, старшиной, командиром торпедного катера.

Шло время, менялись корабли. На линкоре «Севастополь» рулевого Константинова впервые заметили как хорошего пловца, а в 1949 году команда, в которую входил Виктор, стала чемпионом Краснознаменного Черноморского флота по водному поло — основному виду спорта моряков. Прошел еще год, и Константинов — капитан команды ватерполистов.

Перелистывая подшивки газеты Черноморского флота «Флаг Родины» тех лет, то и дело встречаешь фамилию или фотографию нашего земляка. Он отлично стреляет, бегает, плавает, в свободное от службы время тренирует молодежь. Командующий Черноморским флотом награждает чемпиона по плаванию Константинова именными часами.

Очередное письмо, которое послал Виктор Леше Скокову, было вложено в большой конверт— с письмом в Карелию шла газета, где был напечатан очерк «Передовое подразделение торпедистов». В нем говорилось:

«…Лейтенант Константинов, находясь на учениях, в минуту опасности лично сам устранил неисправность в торпеде. Атака была внезапной и успешной. Личному составу подразделения

объявлена благодарность. Приказом командира части подразделение объявлено отличным. Этих успехов торпедисты добились благодаря повседневной воспитательной работе командира коммуниста Константинова».

На флот стали прибывать новые торпедные катера. Проводку первого каравана новой техники поручили Константинову.

Спешили уйти от зимы. Однажды в морс попали в шторм, один катер понесло прямо на берег, но его умелым маневром спас лейтенант Константинов. За этот переход он получил еще один именные часы от командующего флотом.

Особым днем для старшего лейтенанта Константинова стал день 22 марта 1957 года. За проявление героизма при выполнении служебных обязанностей он был награжден медалью «За боевые заслуги». В мирные дни — боевая медаль! Даже человеку, мало сведущему в военных делах, это говорит о многом. 46 благодарностей командования получил моряк Константинов.

…Прошли годы. И наступил тот час, когда в связи с сокращением наших Вооруженных Сил Виктор был уволен в запас. Жалко покидать флот, поздновато перестраиваться, но надо! Надо начинать новую жизнь, и лучше с нуля, решает Виктор. Он работает лаборантом, прорабом, учится в вечерней школе, поступает в Симферопольский медицинский институт. Окончив институт, Константинов добивается через Москву, чтобы ему дали направление на работу в родную Карелию. Сначала трудился в санатории «Марциальные воды», сейчас, вот уже 13 лет, он врач травматологического пункта Петрозаводской городской больницы.

Очередная операция хирурга В. П. Константинова прошла успешно.

Постоянной любовью Константинова остался спорт. Спорт помог ему избавиться от тяжелого недуга — бронхиальной астмы, спорт вошел навсегда в его дом. Без Константинова не обходится ни одна спартакиада медиков, ни один День бегуна.

Особый праздник в его жизни — встречи партизан «Красного онежца». Большую работу ведет он и с ребятами в подшефной школе.

— Я шагаю по жизни уверенно, — любит говорить Виктор Петрович Константинов пионерам. — Потому что со мной мои друзья. Никогда и нигде я не чувствовал себя сиротой. Сколько добра сделали мне люди! Когда в сорок третьем я покидал партизанский отряд, в сердце моем родилась клятва — не подвести фронтовое братство. Я помнил об этом, командуя торпедным катером, помню сегодня, надев белый халат хирурга. Я стараюсь возвратить людям мой долг, огромный, неоплатный! Недавно, приехав на встречу, мой боевой командир Иван Яковлевич Кравченко сказал мне: «Паруса твоей жизни, сынок, взяли хороший ветер…» А отец мой любил повторять: «Старайся, чтобы каждый день был полным, как ведро воды. Полным и чистым!» Спасибо им за эти слова.

ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ В РАЗВЕДЧИКИ

Рыхлый снег укрывал озябшую ноябрьскую улицу. Савин неспешно закрыл за собой тяжелую дверь Госбанка и пошел домой. Все вокруг белело какой-то госпитальной чистотой. Евгений Антонович вытянул вперед широкую ладонь, снежинки словно ждали этого и стали усаживаться целым роем. Всю жизнь Савину казалось, что у первого снега есть свой еле уловимый запах чистого родника, лесных, из далекого родного белорусского леса, трехлепестковых подснежников, росших на тонких нитяных ножках. Он улыбнулся.

Темнело. Завернув за угол, Савин увидел, как одно за другим зажглись окна музыкального училища, стоявшего рядом с его домом.

Войдя в подъезд, он открыл почтовый ящик с цифрой 10, вынул газеты, большой пухлый конверт, две открытки. Конверт был из родного села под Минском, и Савин немного удивился, увидев, что он отправлен племянником Ваней, семиклассником.

В комнате он поспешил вскрыть конверт и вынул из него аккуратно сложенную газету «Пионер Белоруссии». Развернул — и прямо в упор на него глянул мальчик в солдатской шинели с карабином на плече. Вверху большими буквами было написано: «Где ты, отважный разведчик? На поиск, пионеры Белоруссии!».

Мальчик стоял рядом с бронемашиной, был он в шапке, в тяжелых сапогах не по ноге, в долгополой шинели. Карабин казался лишь чуть поменьше его. На поясе — патронный подсумок, в ножнах — кинжал-штык. Парнишка, повернув голову вправо, улыбался.

Остро кольнуло под сердцем, на секунду пресеклось дыхание. Евгений Антонович опустился на стул, который ему тут же подставила жена.

— Это ты, что ль, Женя? — всплеснула руками

Нина Ивановна. — Надо же… Ребята, все сюда! — крикнула она детям и внукам.

А Евгений Антонович не отрываясь читал газету. В короткой заметке научный сотрудник Центрального государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства города Ленинграда В. М. Попова обращалась к красным следопытам Белоруссии с призывом начать поиск их земляка Жени Савина, который в годы войны был храбрым разведчиком Ленинградского фронта.

…Это было в Колпино, под Ленинградом, в октябре 1941 года. Разведчики, вымокнув под мелким обложным дождем, отогревались чаем у полевой кухни. Двое суток провели они в тылу у немцев, задание выполнили, принесли донесение, которое не радовало ни их, ни командование: к Ленинграду подходят все новые и новые силы врага. Женя сидел в старой фуфайке, рваных на коленях штанах, на нос сползала черная фуражка.

— Савин есть тут? — крикнул посыльный. — Савина срочно в штаб полка!

Командир отделения устало зыркнул на посыльного:

— Что за срочность такая? Донесение я уже передал. Не кормились горяченьким черт знает сколько. Да и переодеться ему надо.

— Велено поскорее. Там его дожидаются.

Женя заволновался, отодвинул кружку, побежал к дому, где были на постое разведчики. Выскочил — не узнать: шинелька туго перехвачена в поясе, сапоги начищены, повернулся кругом перед отделенным.

— Давай жми, — сказал тот, улыбаясь, — порядок.

У входа в штаб Женя увидел комиссара полка, командира взвода разведки и немолодого незнакомого майора.

— Младший сержант Савин по вашему приказанию прибыл.

— Так это и есть тот Савин, о котором вы мне говорили? — недоверчиво спросил майор простуженным голосом.

— Все верно, — усмехнулся комиссар. — Благодаря его разведке наша артиллерия славно поработала под Александровкой. Молодец, Савин, дай-ка еще раз пожму тебе руку, младший сержант.

Женя шагнул вперед и расплылся в улыбке.

— Я из военной газеты, корреспондент, фамилия моя Мазелев, — сказал майор, тоже протягивая руку. — Приехал к вам в часть, побывал в окопах на передовой, познакомился со многими храбрыми людьми. Ну а под конец захотел повидать разведчиков. Разговорился вот с лейтенантом, и он мне рассказал

о вас… о тебе, — поправился, засмеявшись, майор. — Сколько годков-то стукнуло?

— Пятнадцать, товарищ майор.

— По виду не дашь.

— Он у нас солидно выглядит, — заметил лейтенант.

— Да нет, мне показалось наоборот. Поди, прибавил себе годик?

Женя потупился.

— Ну ладно, Женя, рассказывай все по порядку, — вздохнул майор. — Пойдемте вон туда, к старому дому, спрячемся под крышу от дождя. А вздыхаю я, братцы, потому, что у меня самого вот такой же сынок, тоже на фронт рвется, Ленинград родной защищать хочет.

— С чего начать, товарищ майор, с детства или с войны?

— Давай, браток, сперва про разведку. Про твое первое задание. Рассказывай все как было, не стесняйся. Мне, понимаешь, все интересно, ведь я впервые вижу вот такого мальчика в военной форме, а он, оказывается, разведчик да еще и смельчак. Выкладывай все, что чувствовал, боялся ли…

— Боялся, — сразу же согласился Женя и увидел, как укоризненно покачал головой взводный. — Боялся, — упрямо и твердо повторил Савин и замолчал.

— Вы уж его не смущайте, пожалуйста, лейтенант, — майор тронул взводного за рукав, доставая толстый блокнот из планшета.

Вдалеке за горизонтом громыхнуло, а через несколько секунд где-то на окраине разорвался снаряд, за ним другой, третий. Майор вглядывался в живые глаза мальчика, а Женя, привыкший к артобстрелу, начал рассказ.

…Удивительный то был день, когда всех новичков построили в старинном парке, неподалеку от лицея, где учился великий русский поэт и чьим именем теперь назван этот прекрасный город. На бледном небе сквозь тронутые желтизной сентябрьские листья блестели маковки дворцовых церквей. Женя стоял в новенькой форме, только что наспех подогнанной в полковой мастерской. А вот сапоги были такие, какие выдали на складе. Один за другим красноармейцы повторяли текст воинской присяги. Срывающимся голосом Савин произнес торжественные слова.

А через четыре дня командир взвода разведки поставил перед Савиным и еще двумя бойцами задачу: отбыть на передовую и разузнать все, что касается противника в близлежащей деревне по дороге на Кингисепп. Отделенный принес Жене старую фуфайку,

штаны — выпросил у сельчан. Ботинки и фуражку с белыми молоточками, выданные в ремесленном училище, решили оставить. Молоточки эти и подсказали разведчикам легенду: Савин, который учился в ленинградском ремесленном училище, пробирается в родное село, уже захваченное немцами.

Пошли лесом, пересекли дорогу, к месту добрались под вечер. Женя отправился в деревню, а двое товарищей залегли в кустах на окраине, дожидаясь его возвращения.

Повсюду на улицах были войска. Пушки стояли на выгоне, прикрытые побуревшими ольховыми ветками, за ними торчали башни танков с черно-белыми крестами. Женя впервые увидел немцев так близко. Ему хотелось вжаться в дощатый забор, прыгнуть в огород, убежать к своим. Не покидало чувство, что враги распознали его, знают, что он — сын полка Савин, разведчик.

За старым овином Женя наткнулся на трех ребятишек, пасших коз, подошел к ним, заговорил, рассказал, что возвращается в свою деревню, попросил проводить. Один паренек согласился, и они пошли по селу вдвоем, теперь стало как-то спокойнее. Женя считал про себя и запоминал. В просторном дворе перед старыми кленами немцы разместили пушки, там же весело горел костер — на вертеле жарились, потрескивая, куры. Немцы гоготали, раскладывали на пятнистой плащпалатке бутылки, консервные банки, фляжки в суконных чехлах. Женя старался ничего не пропустить, запоминал количество пушек, танков, автомашин. Ребята завернули за угол и вышли к широкому колхозному подворью — там высились новые амбары, похожие на те, что построили перед войной в его деревне, напротив амбаров — конюшня, птицеферма. Двери повсюду сорваны с петель, рассыпано зерно, валялись раздавленные тяжелыми колесами грузовиков цыплята. Из конюшни вооруженные солдаты вывели четырех мужчин и женщину. Первым шел высокий человек с седоватой, коротко стриженной солдатской головой, грязно-красная повязка свесилась на глаза, ступал твердо и вместе с тем словно на ощупь, был он босой, и тесемки галифе змеились по жухлой траве. Женя окаменел, но мальчонка тронул его за рукав, и они пошли дальше, прошли все село.

В сумерках вышел он к своим друзьям, сидевшим в засаде. Ночью вернулись в часть, доложились командиру взвода. Тот выслушал Женю, повел в избу, вынул большой лист бумаги, и они стали вдвоем рисовать план села. Память у Жени была цепкая, все запомнил до мелочей, все легло на план: и танки, и грузовики, и пушки, и скопление пехоты. Закончили после

полуночи. А чуть свет ударила по селу прицельным огнем артиллерия.

Разведчик Женя Савин. Осень 1941 года.

Вскоре полк получил приказ отойти на новую позицию. Заняли оборону, окопались. И снова Женя с двумя провожатыми получил задание идти в тыл. Быстро переоделся, пристроил за подкладку фуражки справку, что он учился в ремесленном, две секунды поколебался, но, закрыв глаза, четко увидел того босого военного, вынул из вещмешка гранату-лимонку и быстро сунул ее в карман фуфайки.

Снова его товарищи залегли, не доходя до села, а Женя пошел огородами к избам. Село кишело немцами. Женя вертел головой во все стороны: на околице четыре танка, два возле

колодца. Четыре пушки. Двадцать три грузовика. Еще одна огромная пушка на гусеничном ходу, широкая — на всю улицу, а ствол такой — ведро можно вставить. Сколько же солдат? Надо чтоб было точно. Не осрамиться, коль доверяют такое дело.

На горушке в центре села высился большой дом, видимо, школа или сельсовет, впереди цветники — теперь на них стояли приземистые, разрисованные черно-зелеными пятнами штабные машины. Урчали моторы, притормозил мотоциклист в больших очках и длинном сером прорезиненном плаще. Женя прошел раз, другой, остановился напротив, у нового сарая, — запоминал. Подъехал длинный грузовик, с него посыпались солдаты, прозвучала лающая команда, все быстро стали в строй. Теперь несложно их сосчитать. Из школы вышли трое офицеров, несколько солдат и человек в штатском с повязкой на рукаве. Офицеры козырнули строю и, не останавливаясь, вышли на дорогу. И тут глаза Жени встретились с мутными, пьяноватыми глазами сопровождавшего их дядьки в штатском.

— Эй, малец, поди сюда! Да побыстрее!

Женя попятился к углу сарая, а они приближались— толстый главный офицер и небритый рыжеватый дядька с повязкой.

— Ей-богу, это не наш, господин офицер. Эй, ты чей будешь? — крикнул полицай, сложив зачем-то рупором короткопалые ладони.

Офицер начал медленно расстегивать большую черную кобуру на круглом животе. Ноги у Жени враз отяжелели, глаза стало заволакивать туманом. Но это длилось меньше мгновения. Решение пришло само собой: Женя выхватил гранату, выдернул кольцо и что было сил бросил ее под ноги врагам. Громыхнул взрыв. В тот же миг Женя метнулся за сарай, побежал, петляя, по огороду, пригнулся, услышав автоматные очереди, перемахнул через плетень, а пули посвистывали, казалось, над самой головой, сбивая листья и спелые яблоки.

Запыхавшись, добежал до своих, ждавших его с тревогой, и они тут же стали уходить к лесу. На ходу Женя рассказал о случившемся, а вечером доложил обо всем командиру своего взвода. Тот сразу же подошел к полевому телефону, вызвал штаб полка. Закончив разговор, он крепко прижал к себе Савина, пошарил в нагрудном кармане и, улыбаясь, прикрепил к петлицам его гимнастерки по маленькому красненькому треугольничку.

— Командир полка приказал присвоить тебе звание младшего сержанта и одновременно представить тебя, Савин мой дорогой, к правительственной награде.

Снова молотила по селу наша артиллерия, слала снаряды

туда, где на плане Савин пометил крупное скопление техники, пехоты. Потом были еще походы в занятые врагом села, новые важные разведданные получал штаб части.

…Весь этот свой рассказ военному корреспонденту Женя уложил в пятнадцать минут. Артобстрел не прекращался, более того, стал интенсивнее, а тут еще на Ленинград прошла стая бомбардировщиков, два из них отвернули и стали бросать бомбы на позицию зенитных орудий в Колпино.

— Я хотел бы тебя сфотографировать, Женя, но надо чтобы ты был в полной боевой форме, — сказал майор.

Они прошли к дому, где жили разведчики. Женя быстро взял карабин, прицепил к поясу штык в ножнах. Мазелев расчехлил фотоаппарат, показал, куда стать— к бронемашине, попросил повернуть голову, улыбнуться.

— Ну а про детство — в другой раз, — заторопился майор. — Скоро приеду снова.

— Эх, попала бы газета в Белоруссию, в село наше Оздятичи, к моим. Пусть бы узнали, что я воюю, что жив-здоров.

— Да, рановато кончилось твое детство, Евгений, — сказал комвзвода. — И сам, наверное, понимаешь, каково мне посылать тебя к немцу в лапы, мальчонка ведь ты еще совсем.

— А я вот о чем думаю, — произнес майор. — Наступит такое время, когда тысячи мальчишек будут завидовать разведчику Жене Савину. Вот помянете мое слово, коль будем живы. До скорого свидания, младший сержант Савин.

Но больше они не свиделись, не свела судьба, не расспросил майор Мазелев о детских годах Женьки Савина.

Большое село Оздятичи раскинулось недалеко от плавной, широкой Березины. Место знатное — тут когда-то, гонимое полками Кутузова, беспорядочно переправлялось на западную сторону реки разгромленное войско Наполеона. А еще достопримечательностью этих мест были древние пологие курганы, поросшие полынью, лебедой, боярышником. На этих курганах пропадала с утра до темна сельская детвора — играли в войну. Играли «в Чапаева», «в Щорса». Впереди скакали на гибких ореховых прутьях, со свистом сбивая красноталовыми лозинками сизые головки лебеды, эскадроны Жени Савина и распевали любимую песню «По долинам и по взгорьям…»

Летели лихие конники, сшибались с эскадронами Петьки Лабырача, спешивались, схватывались врукопашную, захлебываясь звонким «ура». Почти всегда держали верх «чапаевцы» Савина.

Поиграв, брались за дело — возвращались к гусиному стаду,

которое паслось внизу у курганов, ловили рыбу в Березине, пекли картошку, купались, плавали наперегонки, стараясь догнать колесные пароходики. Катя Кульбянок, Миша Сивчик всегда были рядом с Женькой.

Жили в селе дружно, хотя и не очень богато. Семеро детей росло у колхозного конюха Антона Ивановича Савина и его верной подруги Марии Прохоровны. Детвора спала под одним рядном на полатях, зимой забирались на широкую печь, грели ноги в теплом волглом жите, насыпанном толстым слоем для просушки.

Однажды в июле в Оздятичи приехала из Минска на летние маневры кавалерия. Ребятня не отходила от конников — трогали амуницию, просились в седло.

Женя приносил за пазухой отборный белый налив, застенчиво угощал кавалеристов. Пропадал в палаточном городке, поручив гусей сестре Тамаре. На колхозных лошадях Женя скакал сызмальства, скакал смело, не боялся, но проехать на настоящем боевом коне — это казалось несбыточным, верхом мечты.

— Уважаешь лошадей? — спросил его как-то быстроглазый баянист по имени Артур, игравший вечерами на танцах тут же, около армейских палаток, на вытоптанной полянке.

— Больше всего на свете, — выпалил Женя.

— Ну что ж, подрастешь — и давай к нам в кавалерию.

— Скорее бы, дяденька. Мне еще только двенадцать.

— Бегай под теплым дождиком без кепочки — враз вверх пойдешь. Расти живее, сябруша, вражья стая клыки кровожадные точит. Да мы их песьи головы вот этим клинком посшибаем. Сигай на моего Соколика, держи крепче мою шашку, хлопчик.

Артур подставил ладони под Женькину ступню, тот птицей взлетел в седло, принял тяжелую сизоватую сталь. В левой — поводья, в правой — тяжелая шашка. Пошел!

…Отшумело буйными грозами лето сорокового года, и в августе Женя и его дружок Петя Казюка стали прощаться с родным селом. Петя был сиротой, у Савиных многодетная семья, и сельсовет решил послать их учиться за государственный счет по специальному набору в ленинградское ремесленное училище.

Провожали всей семьей, всей улицей. Прощались до следующего лета, а вышло — на четыре долгих, тревожных года.

На Витебском вокзале минский поезд с ребятами, набранными со всей Белоруссии, встречали с оркестром. Женя и Петя решили не разлучаться. Их зачислили в одно училище на Малой Охте, поселили в одной комнате общежития, только Женя захотел стать слесарем-инструментальщиком, Петя — токарем.

Женя всю дорогу боялся, что не примут — от горшка два вершка, да к тому же худенький, что ивовый прутик. Когда на медицинской комиссии мерили рост, незаметно приподнялся на цыпочки. Пронесло, прошел! Обрадовался совсем, получая новенькую форму, черную, как у матросов. Через месяц Женя послал в село первую в своей жизни фотографию. Стоит во весь рост гордый парнишечка, подтянутый, серьезный, в черной шинели. Туго затянут ремнем, на широкой пряжке выбиты буквы «РУ», на петлицах серебряные буквочки «6 РУ» — шестое ремесленное училище, на фуражке спереди скрестились молоточек и разводной ключ.

На Октябрьские вышли они на демонстрацию сводной колонной. Лихо шла рабочая смена по Невскому, прошли под аркой Генерального штаба, по знаменитой площади у Зимнего дворца. Море кумачовых знамен, тысячетрубные оркестры, песни над людской рекой, песни до позднего вечера…

Любил Женя мастерскую — здесь пахло сталью, машинным маслом, тянули к себе тиски. Занятия пролетали как одна минута. Рука Жени окрепла, глаз приобрел точность — тяжелый напильник не ковылял уже вверх-вниз по детали, а шел плавно, снимая еле заметный слой металла. Мастер Степаныч приглядывался к Жене, все чаще и чаще останавливался около его тисков. Степаныч слыл человеком немногословным, спокойным, никогда никого принародно не хвалил, но знал, кто чего стоит, понимал, будет ли из парнишки толк.

— У тебя металл оживает, Савин, — прогудел он однажды, наклоняясь к самому уху Жени, который ничего не видел вокруг, кроме ровной синеватой поверхности стального бруска.

В декабре им объявили, что вскоре поведут на Кировский завод. Большие ворота знаменитого завода распахнулись перед колонной ремесленников, во дворе мастера разделили их на группы и повели по цехам. У Женьки захватило дух — вот это завод, вот это махина!

— Тут бы трудиться всю жизнь, — услыхал он рядом сипловатый голос Степаныча.

Женя вздрогнул, зарделся, закивал согласно головой.

В начале сорок первого они стали ходить сюда регулярно на практику, и ребятам во всеуслышание объявили, что тех, кто покажет наилучшее прилежание и мастерство, после окончания училища возьмут на завод.

Женя старался как мог. Его хвалили все чаще. Однажды Степаныч отобрал несколько деталей, сделанных Савиным, загадочно улыбнулся и ничего не сказал. А как-то в воскресный день, гуляя с ребятами по Невскому, Женя увидел в большой

застекленной витрине необычную выставку под названием «Рапортуют учащиеся ремесленных училищ». В витрине лежали различные детали, приспособления, всякий инструмент.

— Глядите, хлопцы, наш Савин-то на витрине! — крикнул Петя Казюка.

На черной бархатной подставке лежал отливающий зеркальным блеском молоток. Под ним надпись: «Работа Е. Савина. 6-е РУ».

Женя, Петя и многие другие ребята впервые попали в большой город, да еще в такой удивительный город! Часто по выходным дням бывали экскурсии. Приходил старичок, друг Степаныча, вместе они слесарили на Путиловском, большевик, участник штурма Зимнего, он без устали водил ребят по городу. Женя, слушая его, закрывал глаза, и ему виделся Ленин на броневике, красные сполохи выстрелов на ночной Дворцовой площади, костры у Смольного, грузовики с красногвардейцами, среди которых были Степаныч и его старый друг.

В Смольном Женю больше всего поразила кровать, на которой спал Ильич. Точь-в-точь такая сейчас у него, у Женьки Савина, ремесленника, — железная, с жестким матрацем. Женя украдкой пощупал его. Домой он писал: «Вчера были мы в зале, где Ленин объявил о начале новой власти рабочих и крестьян. Зал такой красивый, что мне и не описать. До того места, где стоял наш вождь, я мог дотянуться рукой. Жизнь моя — словно красивый сон».

Мать в ответ свое: «Жду тебя, мой голубок сизенький, не дождусь. Хоть бы скорее лето, а там и тебя отпустят на побывочку. Чует мое сердце, что исхудал ты. Не болеешь ли?»

А Женя окреп, руки налились силой, по физкультуре первый. На лыжах, правда, не всегда получалось, зато винтовку собрать и разобрать, всадить в черный кружок мишени все пять пуль из мелкашки — тут он многих обгонял.

К Первомаю выдали им белые гимнастерочки, черные суконные брюки, новые хромовые ботинки с подковками. Как вышли на парад — одно загляденье, вот тебе и ремеслуха! А как ножку дали, как ударили строевым шагом по мостовой! Народ глядел и не мог наглядеться — смена рабочему Питеру идет!

…Под вечер 22 июня во дворе училища состоялся митинг. Женя стоял в строю, опустив голову. Директор училища, Степаныч, какой-то военный говорили, что вероломный враг будет скоро разбит, а перед ребятами стоит одна задача — учиться отлично, быстрее овладевать очень нужными стране рабочими специальностями.

Недели через три их подняли рано утром и на машинах

повезли за Гатчину, на оборонные работы. Вместе с сотнями других людей в тихом зеленом поле, казавшемся таким мирным, далеким от войны, повзрослевшие мальчишки копали глубокий противотанковый ров. Бросали землю с утра до ночи в три смены, падали с ног, росли на ладонях сизыми буграми кровавые мозоли.

Неподалеку от них, ближе к Гатчине, также валясь с ног от усталости, работали красноармейцы.

В свободную минутку Женя бегал к ним, смотрел, как они сооружали блиндаж, рыли траншеи, в полукруглых капонирах устанавливали небольшие противотанковые пушки.

Тяжелой вереницей тянулись дни, с фронта приходили плохие вести. Однажды почти над ними завязался воздушный бой. Татакали пулеметы, самолеты неуклюже гонялись друг за дружкой — было совсем не страшно, все напоминало какую-то игру. И вдруг тупоносый краснозвездный ястребок повалился на крыло, от хвоста потянулась ниточка дыма.

— Прыгай! Прыгай же! — кричали ребята, побросав лопаты и выскочив изо рва. Только из самолета никто не выпрыгнул и он глухо ударился о землю, подняв над собой острый факел пламени…

Все пальцы на правой руке у Жени были забинтованы, мозоли не заживали, гноились. Начальник училища — теперь его так стали называть, — видя такое бедственное положение Савина, назначил Женю связным между училищем и артиллерийской частью. Женя бегал туда два-три раза в день и успевал, отдав записку, помочь очистить снаряды от слоя смазки или брался прокладывать со связистами телефонный кабель от блиндажа к наблюдательному пункту. Шустрого паренька приметили — угощали сытными щами, подарили пилотку. Женя подружился с веселым острословом сержантом Геной Беляевым.

Погожим теплым вечером пришла беда. Высоко в небе проплыл немецкий самолет, за ним другой, третий. Самолеты были привычным делом, но тут кто-то звонко закричал:

— Парашютисты!

Начальник училища быстро кивнул Жене:

— Мигом в часть. Спроси, что нам делать.

Женя помчался не разбирая дороги, то и дело вглядываясь в небо, а справа над пшеничным полем уже колыхались белые купола. Женя подбежал к блиндажу, нашел командира.

— Отходите немедленно! — закричал тот. — Всем ремесленникам отходить в сторону Ленинграда! Живо!

Через десять минут растерянные ребята, побросав палатки, кирки, лопаты, бежали по полю, позади них уже слышались сухие,

негромкие автоматные очереди.

— Доложи, что мы отошли к Гатчине, и догоняй нас! — крикнул Савину начальник училища.

Женя снова полетел к артиллеристам, те уже, прильнув к прицелам, застыли у орудий. Слева грохнул выстрел, рявкнула пушка и у штабного блиндажа, винтовочная стрельба потонула в орудийных залпах. Немцы залегли, стреляли из пулеметов. Казалось, выстрелы раздавались всюду — спереди, сзади. Женя испугался и юркнул в блиндаж. Вскоре туда приполз раненый сержант Гека и сказал, что наверху совсем плохо. Женя ошалело выскочил из блиндажа, увидел убитых, побежал к молчавшей пушке — там корчился раненный в живот артиллерист.

— Снаряды! Дай снаряды! — хрипел он еле слышно.

Женя бросился к сараю: он знал — там были снарядные ящики.

— Отходить! Команда отходить к лесу! — послышалось вдалеке.

За сараем стояли лошади. Женя быстро запряг повозку, рванулся назад, вывел Гену, дотянул до телеги, затем подтащил стонущего артиллериста, и они помчались несжатым полем к дальнему черному лесу. Догнали две лошадиные упряжки с пушками, догнали пятерых артиллеристов, которые катили орудие, впрягшись в брезентовые постромки. Стали держать совет. Решили добраться до леса, по пути искать своих, а затем уходить в сторону Ленинграда. И тут кто-то сказал:

— Бензосклад оставляем немцам. Не дело, братва.

— Еще можно успеть…

— Кто пойдет? — спросил командир дивизиона.

— Кого назначишь, лейтенант, тот и пойдет.

Командир назвал троих.

— Возьмите и меня, — попросил Женя. — Может, понадобится под колючей проволокой, под забором пролезать. А в случае чего — я из ремесленного…

Командир махнул рукой. Взяли гранаты, перезарядили винтовки и заспешили назад. Бежали пригнувшись, пшеница опутывала ноги, не хватало дыхания, падали, поднимались, бежали дальше. Успели! У длинного кирпичного склада никого еще не было. Открыли краны двух цистерн, отвинчивали, где отвинчивались, пробки у бочек. Резко запахло бензином. Быстрее, быстрее! Горючее лилось на землю, черной речкой потекло к шоссе.

Над складом пролетела стайка трассирующих пуль. Застучал пулемет. Когда он смолк, со стороны дороги послышался гул моторов. Гул быстро нарастал, становился похожим на глухое

рычание.

— Танки! Отходим, братцы, дело сделано!

— Да уж не попользуются, гады.

— Савин, ты где? Не мешкай, отходим!

Женя вспомнил приказ товарища Сталина — ничего не оставлять врагу. Он схватил охапку ветоши, подставил под струю бензина — ветошь обмякла, выпала из рук. Нужно намотать на палку! Скорее, скорее! Женя оторвал от забора узкую дощечку, переломил пополам, намотал на нее тряпье, чиркнул спичкой. Бойкий огонек побежал по факелу, полыхнул жаром. Женя прижался к углу склада. Из-за поворота вывернули силуэты грузовиков, над кузовами на фоне светлого еще неба четко видны были солдатские каски. Женя, размахнувшись, бросил факел в бензиновый ручей, уже пересекший шоссе. Огонь взмахнул в небо. Женя юркнул под забор, вскочил, побежал. За спиной громыхнуло, теплой волной толкнуло в спину, оранжевый сполох осветил дорогу, черный клубящийся дым потянулся к небу.

Женя мчался не оглядываясь, ему казалось, что весь он как на ладони. Гудение жаркого пламени, глухие взрывы бензиновых бочек не заглушали истошных криков немцев, горевших в этом адском огне.

Догнал Женя своих быстро, передохнули малость. К лесу пошли все вместе, довольные.

— Видели мы ваш фейерверк, — сказал командир. — Молодцы.

Старший помолчал, прокашлялся:

— Это вот Савин поджег. Времени в обрез — немцы на дорогу выехали уже. Его заслуга, чего уж тут…

У леса нашли еще отступивших артиллеристов, приободрились. К утру вышли к своим, и раненых вывезли на той самой Жениной телеге, и орудия спасли. Когда добрались до Пушкина, какой-то седой командир обнял Женю, похвалил, что не бросил раненых товарищей, поблагодарил за повозку. Этот командир казался Жене добрым, понятливым, но были и другие — построже, они хотели непременно отчислить куда-то Савина, отправить в тыл, откомандировать в ремесленное училище. Тут вступился командир артдивизиона. Он пошел в штаб, и Савина оставили в части, выдали форму, зачислили на довольствие, а главное — направили в разведку, куда он очень хотел попасть, доказывал, что, переодевшись в сельскую одежду, может сгодиться красноармейцам.

…Глубокой осенью, уже после того как Женю сфотографировал военный корреспондент, командир взвода

разведки дал Савину увольнительную на двое суток для поездки в Ленинград.

Как преобразился город! Окна перекрещены газетными ленточками, витрины заложены щитами, на улицах глубокие воронки, есть разрушенные дома, всюду сосредоточенные люди с противогазными сумками, военные патрули то и дело проверяют документы.

Вот и Малая Охта, вот и родное училище номер шесть. Женя взлетел по лестнице, заглянул в свой класс — пусто, в соседнем тоже никого. В общежитии одни дневальные, тоже с противогазами. Они и отослали Савина в мастерские — там теперь трудятся ребята на оборону. Женя рывком отворил дверь, услышал знакомый скрежет напильников, глухое гудение станков. В дальнем углу по стенам метались сполохи электросварки. Женя постоял минуту, другую — все были в работе, никто не поднял головы.

— Рота, смирно! — крикнул весело Женя.

Ребята обернулись и замерли.

— Женька! Женька вернулся! С того света явился! Ура!

Мальчишки обступили бравого солдатика, с завистью глядели на военную форму, засыпали вопросами. Женя рассказывал мало, больше сам спрашивал.

Добрались ремесленники в Ленинград из Гатчины лишь через трое суток, но пришли не все — были среди них раненые, несколько ребят погибло от пуль десантников, троих скосили осколки фашистской бомбы.

И сразу пошла новая жизнь — парни постарше пошли работать на заводы, хотя жили здесь, в общежитии, младшие весь день пропадали в мастерских. Петю Казюку взяли на Кировский. Отработав в первую смену и придя в училище как раз к обеду, он попал прямо в объятия Жени.

— Живой, сябрушка, дорогой, — шептал Петя, не веря своим глазам. — А мы-то, по правде сказать, не ждали. Такая стрельба поднялась тогда. Мы и решили, что ты навеки в том поле остался…

Петя трогал малиновые треугольники на петлицах, примерил шинель, шапку со звездочкой. Повздыхали, что нет вестей из дому.

Вскоре после обеда — а Женя выложил на стол банку тушенки, полбуханки хлеба, большой кусок колотого сахара, так что у всех дух перехватило, — по мастерской прокатилось радостное известие: сегодня поведут в баню. Давно не парились ребята — бомба угодила рядом с баней, разворотила водопровод. Однокашники стали звать с собой Женю. Ему жалко было бросать

напильник, он с такой радостью стоял у тех давних своих тисков. И вместе с тем ему тоже захотелось согреться, посидеть в парилке.

У стен бани, поковыренной осколками, толпились молчаливые закутанные люди. Они безропотно пропустили небольшую колонну ремесленников. С шумом, с веселым гамом заполнили мальчишки гулкий, чуть теплый зал, загремели тазами. Женя пристроился в очередь, набрал горячей воды, сел на холодную мраморную скамью. И тут он словно прозрел — увидел, что рядом почти не шевелясь сидели тощие, безмолвные люди. Вот мимо бесшумно прошел бородатый старик, держа за руку хилого мальчика. Они словно плыли, не касаясь пола, такие легкие, странные своей неестественной худобой — ребра выпирали, руки висели безжизненно, ступни синих ног скрывались в серых клубах стелющегося пара. Женя отвел глаза, наткнулся на примолкших своих ребят: те выглядели чуток получше. Какая-то судорога пробежала по Жениному лицу и шее, потом в горле стал расти тяжелый ком, Женя уткнулся глазами в пол и заплакал. Ему стало нестерпимо жалко этих людей, стыдно того, что он, Савин, не такой худой, как они. Ему стало казаться, что все до единого смотрят на него! Что делать? Встать и крикнуть, что приехал он с фронта, что у него полный красноармейский паек?..

Женя, сгорбившись, вышел в предбанник, быстро оделся, кинул на плечи шинель, схватил шапку и ушел.

…Полк вгрызся в замерзшую землю под Колпино и стоял насмерть. Вокруг лежали совхозные поля, припорошенные первым снежком. Женя, дежуря на НП, следил за немецкими траншеями, но изредка поворачивал бинокль назад, видел, как на поля под вечер приходили изможденные люди, добирались из Ленинграда. Они медленно ворошили землю, радовались каждой подмороженной свеколке, брюквочке. Их прогоняли часовые, ибо то и дело на поле рвались снаряды, но ленинградцы покорно выслушивали их, уходили и возвращались снова и снова.

Когда у Жени выдавался свободный час, он бежал на это поле и копал, копал. Уже брюквой заполнен старый ящик из-под мин, фанерная бочечка, в которой был цемент. Он оставлял их там, на поле, — пусть берут, не все ли равно кто — все блокадники. Потом с Женей стали ходить два его товарища, разведчики, ходил командир отделения. Он же и предложил написать записку: «Дорогим ленинградцам от разведчиков-фронтовиков».

Часто на поле приходила женщина с двумя детьми, и свою брюкву Женя теперь отдавал только им. Приносил немножко

хлеба, сухарей. Обменяв осьмушку махорки, положенной ему, как всем бойцам, на два кусочка рафинаду, он отнес сахар детям, а те тупо смотрели на белые ровные квадратики, словно не знали, что с ними делать.

— Может, отнесем младшеньким? — спросила женщина и, не дождавшись ответа, бережно спрятала сахар за пазуху. — Эти вот двойняшки — мои, а дома еще двое — соседские сироты.

— А у меня сестрички и братики под немцем остались, — печально заговорил Женя. — Вдруг где-то тоже, вот как вы, на поле ползают, шуптики копают — так у нас в Белоруссии картошку, прихваченную морозцем, называют. Семья у нас девять ртов была, так что я, тетенька, ведаю, что такое пустой живот. И сейчас у нас паек тоже, сами понимаете, блокадный, с каждым днем все меньше получаем, но мне хватает.

— Мал ты уж больно для войны, — покачала головой женщина.

— Для разведчика мой рост в самый раз, я где хотите проползу. И глаза у меня зоркие — недавно немецкий штаб выследил в бинокль. Бегают туда-сюда связные по траншее, чуть стемнеет. День наблюдаю, другой, докладываю командиру взвода, вдвоем стали глядеть — точно, штаб. Ну, нашим пушкарям тут дали команду, они третьим залпом и накрыли этот объект. Мне благодарность комбат объявил…

Вскоре из-за больших потерь часть отвели в тыл, влили в нее пополнение и перебросили на Невскую Дубровку. Тяжелейшие бои выпали на долю тех, кто защищал этот клочок земли под Ленинградом. Есть такое поверье у пехоты, что дважды в одну и ту же воронку снаряд не попадет. Может, так оно и было в других местах, но не здесь, у 7-й переправы. Сколько видит глаз, вся земля вспахана, вздыблена, изранена. Была бы живая — кричала б криком.

Осенняя, хмурая Нева стала границей, стала линией фронта. На этой стороне наши, на той, в деревне Арбузово, — немцы. Наше командование решило выбить фашистов из Арбузова, зацепиться на том берегу, расширить плацдарм.

Штаб полка теребил разведчиков — давайте каждый час свежие данные. Что происходит на том берегу, в Арбузове?

Разведчики понимали: надо выйти к самой реке. Ночами они прорыли подземный ход к разбитой кирпичной трансформаторной будке, стоявшей на обрывистом берегу Невы, и оборудовали в ней наблюдательный пункт. Возможно, блеснули стекла стереотрубы, или фашисты ночью при ракетах заметили, как приносили на НП еду в термосах, но теперь они методично из минометов обстреливали будку. Наравне со всеми, оцепенев от

холода, нес дежурство и Савин. Мерзлая земля колыхалась от близких разрывов, противно визжали осколки над головой.

Холодным розовым утром первая мина легла совсем рядом с будкой и тяжело ранила новичка-казаха. Он помирал и просил пить.

— Вот ведь жизнь: Нева рукой подать, а не зачерпнешь, — ругался отделенный.

— Прошмыгну, ужом проползу, разрешите, товарищ сержант! — встрепенулся Женя.

Командир отделения, вздохнув, согласился. Женя пополз, вжимаясь в землю, и сразу же над ним противно завыли мины. Они ложились справа, спереди, все вокруг заволокло пылью и сизым дымом. Мучительно долго пропадал Женя. Но вот наконец он появился с фляжкой в правой руке. Еще рывок — и он в безопасности, в траншее, но в то же мгновение осколок ужалил его в голову.

Пять дней провел он без сознания, пять дней на грани жизни и смерти. Когда осколок, сидевший чуть выше лба, вынули, Женя пришел в себя, и его из санчасти перевезли в Ленинград. В госпитале на Большой Охте он пробыл около месяца. Врачи лечили, а тетя Таня, одинокая медсестра, у которой умер от голода годовалый сынишка, тайком отдавала ему треть своего блокадного хлебного пайка.

Женя поправлялся медленно, ныла голова, все плыло и кружилось перед глазами. Вечерами он сидел у печурки, тетя Таня подсаживалась к нему, шевелила отросшие Женины волосы, длинными худыми пальцами бережно почесывала вокруг раны.

— Зудит — значит, заживает, — пришептывала она.

— Никогда не верил, что пуля найдет меня. Не верю, тетя Таня, я в смерть.

— Тоньше волоска оставалось тебе до нее, сыночек…

Когда дело пошло на поправку, в госпиталь пришел лейтенант, командир разведвзвода, — был с поручением в штабе дивизии, забежал навестить Савина. Достал из вещмешка две пачки концентратов, рассказал невеселые новости:

— Из нашего взвода мы с тобой, Женька, вдвоем остались. Идем, брат, на переформировку, значит, не свидимся. Не держи, малыш, зла, что я посылал тебя в огонь, под пули подставлял. Так уж выходило.

Женя перебил его:

— Да что там, товарищ лейтенант. Я вот все о другом думаю: что с моими родными сталось, как мама, как младшенькие… В госпитале надоело, хочу на фронт, хочу к вам. Не верю, что меня могут убить, я ведь еще ничего не сделал в жизни.

Врачи решили, что Жене надо долечиваться в тылу, подкормиться, отойти. И повезли его вместе с другими ранеными сначала по замерзшей Ладоге, а потом дальше, поездом, на Волгу.

До первой весенней капели пробыл Савин в госпитале, а когда совсем окреп, его направили в запасной полк. На Волге в те дни формировалась 16-я литовская стрелковая дивизия. Ее костяком стали литовские патриоты, партийные работники, комсомольцы, милиционеры, солдаты и командиры отступившей на восток 179-й дивизии. Вливались литовцы, жившие еще до войны в разных уголках России. Из далекой заснеженной Сибири приехали на Волгу пять братьев Станкусов — Пранас, Пятрас, Миколас, Юстинас, Леонас. Один крепче другого — таких великанов и весельчаков не часто встретишь в жизни. Их предки были переселенцами, в Сибири основали они деревню, и вот теперь их внуки пошли сражаться за Советскую Россию, за Советскую Литву, которую, кстати, никогда не видели.

Вливались в дивизию и русские, жившие в Литве, украинцы, белорусы.

Савина по его просьбе зачислили в конную разведку 167-го стрелкового полка литовской дивизии.

— Белоруссия — соседка Литвы, значит, мы с тобой вроде как братья, — говорил Жене старший сержант, помощник командира взвода разведки Харитонов. — Я жил в Каунасе, язык знаю, как свой родной русский, и тебя в два счета выучу. В общем, не тужи, будем воевать до победы вместе.

Так и вышло, провоевал в этой дивизии Савин до самой Победы. А пока была учеба: устройство мин — каждый разведчик должен уметь разминировать и свою и немецкую мину, разбирали и собирали автоматы, пулеметы, учили немецкий язык. В холодные дни сидели в классах, изучали топографию, трофейное оружие. Сошел снег, и Женя вместе с другими начал по-настоящему постигать нелегкую науку верховой езды, учился орудовать шашкой.

— Тяжеловата для шестнадцати годков, а? — заботился Харитонов.

Пот стекал по шее, по лбу, кружилась голова, деревенела правая рука, сжимавшая эфес шашки.

— Поводья в левой, зажимай между средним и указательным пальцем, держи легко, лошадь — существо понятливое, только слегка тронь поводья — она уразумеет. А шашкой не винти, не играйся, не то еще уши кобылице посечешь.

— Не посеку. Мне еще до войны лошадь и шашку доверяли. Не зацепил.

— Ух какой сердитый, — засмеялся Харитонов. — Ну-ка, поскакали рубить лозу. Слушай, а как твою кобылку наречем?

— Ее уж нарекли, товарищ старший сержант, на конюшне. Пемпя у нее кличка, как переводится?

— Да никак. Кличка ерунда, была бы лошадь верная да послушная.

Рубка лозы досаждала Жене пуще всего. Надо было на всем скаку подлететь к стеблям, воткнутым ровными рядами на поле, махнуть наискосок клинком и скосить верхушку так, чтобы она воткнулась в песок свежим срезом. Шпоры в бока, вперед! Одна лозина, вторая, а третью и четвертую не зацепил, не попал. «Уж лучше брать барьеры», — шептал Женя. Но и тут вышел конфуз — упал с лошади. Три дня после этого боялся подъезжать к высокому плетню, через который скакали разведчики на своих не очень-то удалых лошадях.

К Пемпе Женя относился со всей душой: и травы свеженькой нарвет, и овса выпросит у старшего конюха. На конюшне это замечали, и все же Харитонов нет-нет да и прикрикнет:

— Потертость имеется. Попону надо класть точнее, а не лишь бы как.

— Засечки, — укорял он в другой раз, ощупывая ноги кобылицы.

Куда проще давалась Жене строевая подготовка. Любил он шагать со взводом, петь строевые песни. Но пели на литовском, и многих слов Женя еще не знал.

Однажды, когда разведчики занимались на стрельбище, к ним приехали командир полка подполковник Мотека и начальник штаба Вольбикас. Взводный встрепенулся, подал команду: «Взвод, смирно!», но Мотека попросил продолжать занятия. Разведчики скакали на лошадях через ров, стреляли на скаку из автомата по мишени. Женя скакал последним, но мишень поразил не хуже своего учителя Харитонова.

Затем воткнули в землю свежую весеннюю лозу с первыми пахучими листочками.

— Шашки к бою! Руби!

Накануне Женя весь вечер сам точил оселком клинок — острый, волосок пересечет. Привстав в стременах, он резко махнул шашкой. Есть! Еще раз. Есть! Снова взмах — снова падает подкошенная вершинка лозы.

Взвод построили. Мотека подъехал на своем буланом нетерпеливом жеребце, бросил руку к фуражке:

— Sveiki, vyrai![2]

— Sveiks tamsta![3]

Командир полка похвалил за выучку, пожал руку командиру

взвода, покосился на Савина.

— Это тот самый паренек, о котором я вам докладывал месяц назад, — понял его без слов взводный, — Хенрик Савинас, он не возражает, чтоб мы его так называли.

— По-литовски еще не научился? — спросил Мотека, подъезжая к Жене.

— Многое уже понимаю, товарищ подполковник.

— Мальчишка способный, до военного дела у него большой аппетит, — сказал Харитонов. — А к лету и язык освоит, получается у него справно.

— Молодец, Хенрик, рубишь отлично, и нашивка за тяжелое, ранение тебе не помеха, и автомат у тебя в руках не игрушка, вон как мишень испортил, — засмеялся командир полка.

— Зайди вечерком в штаб, побеседуем, — сказал Вольбикас, — с помощником комиссара по комсомолу тебя познакомлю, он должен знать нашего сына полка.

Вольбикас угощал настоящим грузинским чаем, пододвигал то и дело пакет с белыми сушками, блюдце с мятными подушечками. Женя рассказал о довоенном житье, о Ленинграде. О прошлых боевых делах говорил сдержанно. Помощник по комсомолу долго расспрашивал о делах, а потом сказал, что хоть и скупы записи в красноармейской книжке, да говорят о многом: такого парня, как Савин, надо принимать в комсомол. Вольбикас осторожно намекнул: может, Савину лучше остаться в тылу, продолжить учебу — в Куйбышеве организовано ФЗО для литовской молодежи, и командование полка может походатайствовать перед командиром дивизии. Женя давно ожидал подобного разговора и приготовился к нему. Горячо стал говорить он о родной земле, которую топчут гитлеровские сапоги, о том, как он уже пригодился разведчикам и пригодится еще, что решил твердо дойти до Берлина, а учеба никуда не уйдет, успеет наверстать упущенное…

167-й полк расквартировался в небольшом городке на Волге. Рядом с казармой высилась школа в яблоневом саду. Женя гарцевал на Пемпе по своему подворью, поглядывал на старшеклассниц, гулявших парами на переменках, бросался в них снежками, а в мае частенько, положив на подоконник открытого окна несколько наспех выломанных веток сирени, сидел у клумбы, слушал, как идет урок, и грустил. Он уже подружился со многими старшеклассниками, давал им прокатиться на Пемпе, приглашал в свой клуб на концерты заезжих артистов, в кино. Иногда с парнями приходила высокая, гордая, черноволосая девочка. Женя уже давно приметил эту неприступную девятиклассницу, узнал, что зовут ее Клава, узнал, где живет, и

при всякой возможности норовил проскакать по ее улице.

Как познакомиться, как подойти, заговорить?

Разведчики часто после занятий купали лошадей в Волге. За ними всегда увязывалась детвора, барахтались у берега, ныряли. Пемпя любила купаться, заплывала далеко, фыркала, косилась каштановым ласковым глазом на своего легонького хозяина.

— Тонет, глядите, Олька тонет! — закричали на берегу.

Женя, сидевший на Пемпе, оглянулся и увидел над темной водой маленькую руку… Его Пемпя словно почуяла беду, легко послушалась поводьев и повернула назад. Женя соскользнул с лошади и поплыл к девочке широкими мужскими саженками. Он поймал ее руку уже под водой, схватил за косу, приподнял над легкой волной. Пемпя приняла девочку на широкую спину, и они втроем поплыли к берегу…

Вечером в штаб полка пришла мама той рыженькой девочки, принесла огромный букет пионов, плакала от радости. На следующий день младшему сержанту Савину перед строем объявили благодарность, а еще через день комсомольцы школы пригласили его в гости. Женя рассказывал о чудесном городе Ленинграде, о памятном первомайском параде, о белых ночах, о том, как поджег бензосклад, как ходил в разведку.

— Постойте! — закричала вдруг Клава, сидевшая недалеко от Жени. — Так это ведь о тебе писала «Пионерская правда»! Ну помните, ребята? Там еще фотография была: мальчик стоит у танка, винтовка на плече. Да погодите минутку…

Клава побежала в учительскую, принесла подшивку газеты, быстро нашла статью с фотографией.

— Вот: «Отважный разведчик Ленинградского фронта Женя Савин, — прочитала звонко радостная Клава. — Фото Р. Мазелева».

С тех пор, как только выдавался свободный вечер, Женя отпрашивался у взводного, забегал к Клаве домой, и они шли гулять к Волге. Взводные весельчаки братья Станкусы перемигивались между собой, когда Женя чистил до зеркального блеска сапоги, подолгу расчесывал у зеркала свой непокорный ежик. Взводный не препятствовал этим отлучкам, но требовал, чтобы на вечерней поверке Женя стоял в строю. Харитонов предложил пустить шапку по кругу, собрали немного деньжат.

— Скоро на фронт, — буркнул Харитонов. — Купи своей зазнобушке подарок, пусть вспоминает Хенрика Савинаса.

Женя смутился — «зазнобушка», потом опечалился — «на фронт». Конечно, они давно все поговаривали, что засиделись, но почему именно сейчас, когда в поле за казармой цветут ромашки, когда такая теплая вода в Волге…

Деньги они с Клавой потратили таким образом: купили сто конвертов, чтобы Клава писала письма на фронт до самой победы, наелись мороженого до хрипоты, сходили в городской кинотеатр. Шел фильм «Свинарка и пастух», оба видели уже эту картину, знали ее счастливый конец. Когда шли вечером у Волги, Клава взяла Женю под руку и тихонько пропела:

И в какой стороне я ни буду,
По какой ни пройду я тропе,
Друга я никогда не забуду…
Что мальчишек всех наших храбрей.

…На комсомольском собрании разведвзвода Женю принимали в комсомол. Командир взвода похвалил его за боевую подготовку. Харитонов рассказал, как Савин заботится о лошади, следит за личным оружием. Вспомнили случаи на Волге. А подвел итог помощник комиссара полка по комсомолу, показав всем «Пионерскую правду»:

— Вот, школьники мне принесли. Просили считать эту публикацию в главной пионерской газете как рекомендацию в комсомол.

И он стал читать заметку.

— Вот это да-а, — прогудел Пятрас Станкус.

— Ты что же скрывал, Хенрик? — рассердился Харитонов.

— Выходит, и вправду настоящий разведчик, — удивился Юстниас Станкус. — Получается, что Хенрик — самый обстрелянный солдат в нашем взводе.

— Ты, может, нам не доверяешь? — горячился Харитонов.

Женя молча стоял посреди комнаты, опустив голову, потом торопливо заговорил, впервые заговорил по-литовски:

— Неловко про себя говорить, товарищи. Героем себя выставлять. Документов про эти дела у меня никаких. А рассказать, конечно, хотелось, особенно вам, товарищ старший сержант Харитонов, вы мне, можно сказать, как брат. Ну а вдруг бы вы подумали или напрямик рубанули: вот, соловей, заливает…

Помолчали, замполит взвода подал Жене газету:

— Береги, внукам показывать будешь, сунус[4].

Только пропала та газета, долго носил ее Женя в нагрудном кармане, перетерлась в порох.

…Шли письма от Клавы Кругловой сначала под Тулу, там глубокой осенью дивизия получила боевое крещение, а затем под Курск, где медленно назревало гигантское сражение. Женя

отвечал регулярно, хотя всего написать не мог, нужно было хранить военную тайну. А писать было о чем.

В обороне командиру полка очень важно знать, что творится у противника, что он замышляет, не подошло ли подкрепление. В обороне разведка всегда при деле, это глаза и уши командира.

Пошли за «языком» группой человек десять во главе со взводным. Женя полз рядом с ним.

— Ну как? — прошептал командир взвода.

— Ничего.

— Плюнуть можешь?

Женя пошевелил языком в пересохшем рту.

— Не можешь. Значит, страшно. Так и должно быть первый раз.

— Привыкну, товарищ лейтенант, вот увидите.

Ночь то и дело прорезали ракеты — боялись немцы разведчиков. Братья Станкусы разрезали проволоку, сделали проход, вынули две мины. Уже почти половина группы проползла под колючкой. И тут беда: зацепился-таки кто-то маскхалатом, загремели над головой пустые консервные банки, жестянки. Полетели одна за другой ракеты, застучал пулемет. Разведчик рванулся, но еще пуще впились в маскхалат когти колючей проволоки.

Ракета, описав дугу, уже на своем исходе, медленно плыла к земле.

— Ложись, — прохрипел взводный.

Женя отчетливо увидел искаженное страхом лицо, вывернутый в крике рот. По пятнистому маскхалату быстро расплывалось большое темное пятно, тело обмякло, голова свесилась, но проволока цепко держала мертвого разведчика. Взводный подполз, попытался отцепить товарища, и его тоже задела пулеметная очередь. Пришлось отступить. Когда лейтенанта тянули на палатке, он был еще жив. Он умер в траншее на руках у Жени, который перебинтовывал ему грудь.

Назавтра смастерили гроб. Женя обивал крышку кумачом, слезы душили, молоток выпадал из рук. Похоронили лейтенанта на окраине деревни. Савин шел за гробом первым, вел осиротевшего коня командира взвода — такая традиция была у литовцев. Отсалютовали из пистолетов, автоматов, помянули вечером, спели печальную песню.

Через два дня снова пошли за «языком». Документы, письма, как водится, сдали в штаб роты. С собой — автоматы, пистолеты, гранаты, ножи.

Четверо в группе захвата, трое — группа прикрытия, в ней Савин. Саперы показали проход в нашем минном поле, дальше

надо самим. Разрезали колючку, проскользнули на ту сторону, вынули шесть немецких мин, поползли к траншее, у бруствера затаились. Ждать пришлось недолго — в траншее показался немец. Прыгнули сверху, запихали в рот кляп и скорее назад. Немецкий ефрейтор оказался сообразительным — все рассказал, что знал. Разведчики воодушевились: могут брать «языка».

Так дело и пошло. Днем — наблюдение за врагом, а дождливой, туманной ночью — охота. Сколько раз ходил в эти рейды Женя Савин — десять, двадцать? Не вели счет, ни к чему было. И не каждый раз брали Савина: оставляли под всякими предлогами, берегли.

После зимнего поражения на Волге немецкое командование, желая захватить инициативу, стало концентрировать крупные силы на Курском выступе — у Орла и Белгорода.

Задача, поставленная перед многими нашими частями и соединениями, в том числе и перед литовской дивизией, была следующей: сдержать натиск вражеского наступления, перемолоть его основные, отборные дивизии, а затем, перейдя в контрнаступление, завершить разгром немецких частей и развернуть общее широкое наступление наших войск.

Первые дни июля выдались жаркими, безветренными, сухими. Все было готово к отражению удара: в глубоких траншеях полно боеприпасов, у пушек горы снарядов, завезены продукты, подтянулись к передовой медсанбаты, надежно укрыли красноармейцев и командиров добротные блиндажи, дзоты.

Разведчики 167-го полка получили приказ самого командира дивизии, генерал-майора Карвялиса, — нужен толковый пленный. Женю снова назначили в группу прикрытия. Ночью они поползли к штабному блиндажу, где с вечера было отмечено необычное оживление, и взяли молоденького лейтенанта, бравого, самоуверенного.

— То, что я сейчас скажу, уже не тайна. Завтра, 5 июля 1943 года, мы начнем грандиозное наступление и дойдем до Москвы, — похвалялся он в штабе дивизии. — У нас новая техника, равной ей нет в мире, танки «тигр» и «пантера» несокрушимы…

Да, 5 июля не было тайной — разведчики многих наших частей доносили об этом дне, о том, что ранним утром начнется битва.

Наше высшее командование решило упредить врага— за несколько часов до перехода противника в наступление была проведена мощная артиллерийская контрподготовка. Красные сполохи орудийных залпов распороли, раздвинули черную ночь. Гитлеровцы понесли большие потери, момент внезапности был

утрачен.

И все же немецкие танки пошли в наступление, в небе громоздились этажами десятки самолетов.

Артиллеристы литовской дивизии выкатили все пушки на прямую наводку, били наверняка, подпустив танки поближе. Пехотинцы, в том числе и разведчики, отсекали автоматным и пулеметным огнем пехоту, бегущую за танками. Припав к брустверу, Женя короткими прицельными очередями стрелял из автомата, гранаты лежали до времени справа в нише под рукой. Танки упорно лезли вперед, их снаряды рвались рядом с траншеей, и горячая земля ходила волнами под животом, под грудью.

В первый день полк отбил пятнадцать атак, на второй — двенадцать, на третий — восемь. Немцы выдыхались, но все атаки были танковые, напористые. Не дрогнула литовская дивизия, стояла как вкопанная. Да и в самом деле «вкопанная»: больше месяца рыли землю до седьмого пота. Дивизия встретила натиск врага хорошо продуманной системой обороны, отличной выучкой, крепостью духа. Доходили слухи, что кое-где немцам удалось потеснить наши части, но Мотека, Вольбикас, да и сам Карвялис в минуты передышки появлялись на переднем крае, воодушевляли своих бойцов, напоминали о клятве, данной перед началом битвы: ни шагу назад!

Над полем сражения висел багрово-пламенный шар солнца. Пыль, дым, грохот, гарь. Перед траншеями полка догорали немецкие танки, и среди них огромный «тигр», который артиллеристы подбили из маленькой, юркой «сорокопятки». Эта радостная весть быстро разнеслась по дивизии, по всему фронту.

Как только сгустились сумерки, к продырявленному «тигру» поползли разведчики. Женя был в паре со старшим Станкусом. Страшным ударом приклада огромный Станкус сбил с ног первого танкиста, подхватившегося из наскоро вырытой ямки, второго — офицера — прижал к земле Харитонов. Женя связал офицеру руки, отобрал пистолет. Пленного доставили в штаб полка, он оказался командиром танковой роты. Услышав литовскую речь, офицер нервно завертел головой, забормотал:

— Нам сказали: впереди вас литовцы, они сражаться не станут, они хотят в свою старую Литву, они встретят вас объятиями.

В штабном блиндаже долго стоял хохот.

— Ну и как встретили? — смеялся Вольбикас, и жесткие складки, появившиеся в последние горячие дни на его лице, разгладились. — Нежные объятия у нашего Станкуса?

Поредевшие гитлеровские дивизии остановились. Тогда

загремели наши тяжелые орудия, полетели огненные веретена, пущенные грозными «катюшами».

— Врежьте, родимые, им, — шептал Женя, — врежьте так, чтоб стекла вылетели в рейхстаге.

Наши войска перешли в наступление. Гнала фашистов, которые откатывались, словно дымящаяся головня, и славная литовская дивизия. Дивизионная газета «Тевине шаукя» («Родина зовет») писала: «Час настал. Довольно гитлеровским бандитам грабить и убивать наших отцов и детей, сестер и братьев! Довольно им топить в крови нашу страну! Час настал. Мы ждем приказа. Мы ждем сигнала, чтобы начать поход на запад, в нашу дорогую Литву».

Запомнился Савину бой за город Кромы неподалеку от Орла. Разведчики первыми прорвались к центру, стали выбивать фашистов из церкви — там был наблюдательный пункт. Вскоре прибежал начальник штаба Вольбикас с двумя связистами. Женя повел их наверх по винтовой лестнице. Взобрались на колокольню и увидели: десятки немцев подползают к церковному холму, подкатывают пушку. «Пропали, — подумал Женя, — свои далеко, а фрицы рядом». Но Вольбикас, поколебавшись минуту, выкурил папиросу и вызвал по рации огонь на себя, смело корректировал стрельбу, не уходя с колокольни. Немцы отступили, и тут наш снаряд зацепил звонницу. Контузило всех четверых — Вольбикаса, Савина и радистов. Чуть живые, они спустились вниз, стали у полукруглого окна. Вольбикас протер бинокль, поднес к глазам, и тут Женя резко толкнул его — пули, раскрошив штукатурку подоконника, влетели в окно, не зацепив начальника штаба. Женя подполз к церковной двери, метнул гранату в залегшего за могильным холмиком автоматчика.

— Вот теперь можно смотреть, — сказал он Вольбикасу.

Тот притянул к себе Женю, по-отцовски крепко поцеловал.

…За отличные боевые действия на Курской дуге литовская дивизия была отмечена в приказе Верховного Главнокомандующего, ей салютовала Москва, 167-й полк получил Красное знамя ЦК Компартии Литвы. Сто двадцать километров прошла с боями дивизия в то лето, уничтожила более 13 тысяч гитлеровцев, освободила 60 сел и несколько городов. Сердечно встречали освободителей исстрадавшиеся советские люди.

Многие бойцы и командиры полка были награждены орденами и медалями. Орден Красного Знамени получили Мотека, Шуркус, Дильманас. Разведчик Бернотенас был удостоен звания Героя Советского Союза. Были отмечены наградами Вольбикас, Харитонов, Юстинас и Пранас Станкусы,

пулеметчица Дануте Станелене, учившая Женю стрелять из «максима». На груди Савина заблестела медаль «За отвагу». Командир полка крепко, по-мужски пожал руку, сам приколол Жене медаль.

— Спасибо, сунус, за службу. Горжусь, что командую такими орлами, — громко сказал Мотека.

— Служу Советскому Союзу! — звонко, еще мальчишеским голосом крикнул Женя.

В сентябре сорок третьего обескровленную дивизию отвели в Тулу на переформировку. Принимали пополнение, обучали, готовили к боям.

В первый воскресный день Женя получил увольнение, пошел поглядеть город и в центре, на площади, встретил… Петю Казюку. Сколько было разговоров, воспоминаний!

Больного Петю вывезли из Ленинграда в прошлом году, подлечили, направили на тульский завод, а на днях призывают в армию. Петя зачарованно глядел на друга, на его медаль, на пистолет в желтой кобуре…

Вскоре Вольбикаса назначили командиром 249-го полка в той же дивизии. Уходя на новую должность, он попросил Мотеку отдать ему Савина:

— Ординарцем, связным уговорил его к себе. Еле согласился, не хочу, говорит, свой полк и разведчиков своих покидать. А у меня, понимаешь, должок перед этим пареньком: жизнь он мне спас в Кромах. Со мной ему будет спокойнее, безопаснее, что ли. Уберечь его надо, мальчонка ведь еще.

…В Белоруссию 16-я дивизия прибыла в конце сорок третьего года и вошла в состав 1-го Прибалтийского фронта. Эшелоны летели на запад с песней, с гармошкой. Женя тогда выучил очень понравившееся стихотворение известного поэта Людаса Гиры, не раз бывавшего у них в полку:

Дуют ветры от Урала,
И снега метут,
Время мщения настало —
Мстители идут.
Песни громче зазвучали —
К западу идем,
Там любимые в печали,
Там родимый дом.

Женя читал это по-литовски, сам придумал мелодию и с этой песней пошел в бой.

Прямо с эшелонов ринулась дивизия на штурм сильно укрепленной станции Невель. Упорные бои вели полки за Невель и Езерище. Захватив их и натолкнувшись на яростное сопротивление врага, перешли к обороне. Потом было долгое затишье с боями местного значения. Летом сорок четвертого дивизия двинулась вперед, вместе с другими освобождала Витебск, Полоцк.

Савин мотался на своей Пемпе то в штаб дивизии с пакетом, то в соседний артполк. Ночью, днем, когда прикажут.

— Савинас, на коня! — кричал начальник штаба полка.

— И — со скоростью ветра! — весело подхватывал любимые слова начштаба Женя, пряча пакет на груди.

— Ты будь поосторожней, Хенрик, — просил его Вольбикас. — Один ведь скачешь, с важным пакетом, гляди внимательно, не наткнись на немцев. Ну и песни пой потише. Понял?

— Есть петь потише, товарищ подполковник!

А песни рвались из его груди, летели одна за другой. С песней — будто с надежным товарищем, песня придает силу. Пока скачет, все песни споет, какие помнит, — и русские, и белорусские. Но больше всех полюбил он старинную литовскую песню. Подъезжает вечером к своим, распрямится в седле и заводит:

Тысяча шажочков до моего домика,
Когда я пойду к моей девушке…

Все часовые знают — Хенрик едет, песня его звонкая лучше всякого пароля.

— Ну, Хенрик, скоро ли наступление, а то мы что-то засиделись? Какие там планы у начальства? — спрашивают его друзья, а друзей теперь у него много — во всех полках дивизии свои ребята.

— Не сегодня завтра выступим. Ждите! — смеется заговорщицки Женя.

Однажды встретил Дануте, на гимнастерке у нее сверкал новенький орден Славы. Прокричал на скаку:

— Привет славным пулеметчикам! За что получила?

— За Витебск, за твою Белоруссию!

Женя все больше привыкал к Вольбикасу. Ему нравилась неторопливая рассудительность командира полка, уверенность, спокойствие в самой сложной ситуации, нравилось, что не кланялся пулям. Женя не раз отмечал, как подполковник по-отечески относится к солдатам, бережет их.

Перед сном, когда гасили коптилку, Вольбикас любил вспоминать прошлое. Рассказчик он был первоклассный, и перед Женей вставали яркие картины опасной подпольной работы коммунистов в буржуазной Литве, трудной молодости командира полка.

Вольбикас тосковал по дому, по семье и всем сердцем переживал за Женю, когда тот душными ночами иногда кричал во сне:

— Мама, мамочка, голова болит…

Вольбикас вставал, клал прохладную ладонь на горячий, потный лоб, рука его легко находила большую вмятину от осколка, под которой часто толкалась кровь.

— Suneli tu mano, suneli…[5]

Женя успокаивался, затихал. Ему снилась мама, резавшая, прислонив к груди, свежий черный каравай, отец, уходящий в ночь на конюшню в новом, пахнущем овчиной тулупе, бабушка, капавшая ему, больному, зелье через палец, чтобы травка не выскочила из пожелтевшей четвертинки…

Дождливым июньским утром Савин получил задание срочно доставить пакет в штаб соседнего полка. Быстро по карте уточнили его дислокацию, до штаба было километров девять, и Савин поскакал напрямик, лесом. Накинул плащпалатку, пригнулся, чтобы ветки не хлестали по глазам, замурлыкал на недавно придуманный мотив:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя…

Ехать было трудно, Женя вымок, но тут впереди засветлело, показалась поляна, за поляной — снова лес. Достал компас — выходило, что надо принять влево. Прошло полчаса, а лес все не кончался. Вдруг впереди послышались приглушенные голоса. Обрадованный, Женя хлестнул Пемпю по бокам. В пелене дождя увидел сквозь деревья две легковые машины, повозки. Если бы выскочил на дорогу сразу — попал бы прямо к немцам. Женя притаился, вслушался, повернул Пемпю и поскакал назад, затем спешился, стал за дерево. Постепенно урчание моторов отдалилось. Женя подполз поближе к дороге — колонна уходила по тракту налево, последний обозник скрылся за поворотом. Женя вскочил на лошадь и выехал на дорогу. Метрах в двадцати, на обочине дороги, переобувался немец с тяжелой рацией на спине.

— Хенде хох! Бросай автомат!

Немец подхватился, судорожно пытаясь оттянуть затвор «шмайсера», но Женя, чтобы не делать шума своим автоматом, с

маху опустил шашку. Немец мигом отдернул руку, поднял вверх, клинок звякнул по стали. Женя подъехал впритык, снял с немца автомат, вытянул из-за пояса гранату, вытащил штык из ножен. Соскочив с лошади, показал, чтобы радист перевесил рацию на грудь. Напуганный немец долго не понимал, чего хотят от него, пришлось помочь. Женя крепко связал пленному руки за спиной его же брючным ремнем, своим стянул лямки рации сзади, сел на Пемпю, та подтолкнула радиста, и они подались по дороге вправо. Не прошли и километра, как Женя увидел вдалеке колонну, шедшую навстречу.

— Линкс, — скомандовал он радисту, и они свернули с дороги, зашли в густой ельник.

— Крикнешь — я стреляю, — прошептал Женя, нацелив на немца автомат.

— Найн, найн, — забормотал немец. — Гитлер капут, Гитлер пльохо.

Колонна подходила уверенным шагом, дружно зацокали копыта, впереди качалось в седлах боевое охранение, дымились бока лошадей.

— Свои, свои! — закричал Женя и через минуту был уже с пленным на дороге, рапортовал прямо самому командиру дивизии Карвялису:

— Товарищ генерал-майор, докладывает связной 249-го полка Хенрикас Савинас…

Генерал, не слезая с лошади, выслушал бойкий рапорт Савина, приказал занять оборону на случай, если немцы хватятся своего радиста и вернутся.

— Откуда будешь родом? — спросил Карвялис, соскакивая с седла.

— Из Оздятич, товарищ генерал-майор. Белорус я, из-под Минска, Борисовского района.

— Хорошо говоришь по-литовски, парень.

— Еще бы, у меня столько учителей, я ведь сын двух полков.

— Спасибо за службу, сунус. За пленного тебе полагается награда, что хочешь?

— Хочу домой на побывку, товарищ генерал. Родителей не видел четыре года. Живы или нет, не знаю.

— Ну вот что, орел, освободим твой Борисов, приходи ко мне в штаб, дам отпуск, — и, повернувшись к адъютанту, сказал вполголоса: — Представить сына полка к награде.

Так на груди Савина рядом с первой появилась вторая медаль «За отвагу».

…ЦК Компартии Литвы был вдохновителем создания

литовской дивизии. Часто, как только позволяли дела, в дивизию приезжали первый секретарь ЦК Компартии республики Снечкус и Председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР Палецкис. Они непременно бывали в полках, посещали передовую, знали многих красноармейцев в лицо, знали и уважали лучших бойцов, обращались просто, по-дружески, по-братски. Впервые Савин увидел Снечкуса в Туле в сентябре сорок третьего, когда тот вручал Мотеке переходящее Красное знамя — тогда их 167-й полк признали лучшим в боевой выучке. Потом слушал Снечкуса и Палецкиса на митинге, а вот сейчас увидел их вблизи, рядом.

На лужайке перед штабом 249-го полка собралось много бойцов, сидели прямо на траве, беседовали по душам о том, что не сегодня завтра для дивизии наступит знаменательный день — она вместе с другими частями Красной Армии, вместе со славными литовскими партизанами начнет освобождать города и села родной Литвы. Говорили о будущем, о том, как начнется новая, мирная жизнь.

Прощаясь, Палецкис и Снечкус обошли всех бойцов, пожали каждому руку. Женя видел, что Палецкис давно поглядывает на него с любопытством, заметил, как он что-то спрашивал у Вольбикаса. Когда подошел черед прощаться с Савиным, крепкий, плечистый Палецкис обнял Женю и, ничего не говоря, трижды поцеловал.

— Когда подрастешь, сунус?

— Я ни один теплый дождик не пропускаю, Юстас Игнович, так что скоро вырасту. В Берлин приду таким, как вы, высоким, — весело проговорил Женя.

— Молодец, коли так. Комполка говорит, что ты храбрый солдат, герой, можно сказать.

— Все в бой рвется, назад в разведку просится, — вставил Вольбикас.

— Нет уж, такой бойкий парень и в штабе нужен. Одна нога здесь, другая там, связной — должность важная. Вовремя доставить приказ командира — сотни жизней можно спасти.

— Так и было под Витебском, товарищ Палецкис, — сказал гордо Вольбикас. — Хенрик под сильным артогнем доставил пакет, предупредил наших об опасности.

— Видишь, как получается, — улыбнулся Палецкис. — Мы сегодня твою Белоруссию очищаем от фашистской гадины, завтра ты будешь драться за нашу Литву. Говорят, песни хорошо поешь, ну-ка, запевай, сунус, ты уж, поди, знаешь, что литовца хлебом не корми, а дай ему спеть песню.

Женя давно выучил прекрасную песню, которую пели друзья-

разведчики перед боем. Зазвенел Женин голос, и все, кто был на поляне, подхватили слова:

Три сестрички, молодой братик,
Родина зовет на большую войну…

В июле Савин поскакал в штаб дивизии, нашел генерала Карвялиса. Тот приветливо поздоровался и сразу же сказал:

— Понял. Освободили твою Минскую область. От слов своих не привык отступать — даю тебе отпуск на целый месяц. Счастливо, сунус.

Снаряжали Женю в дорогу многие друзья — кто принес банку консервов, кто кусок мыла. Станкус-старший принес пару добротного нательного белья, которое ему было мало, Харитонов отдал не очень поношенную шапку, Вольбикас дал денег. К отъезду набралось два вещмешка и чемодан. То на воинском, то на санитарном эшелонах добрался Женя до Борисова, а оттуда на попутной подводе из соседнего села приехал в Оздятичи.

В полдень подошел он к своей хате, а хаты не было— сиротливо торчала кирпичная печь с трубой, сад вырублен, овин разобран. Пустырь, заросший густыми травами. Первый раз в жизни кольнуло в сердце, Женя опустился на чемодан и обхватил голову руками.

— Ты чей будешь, хлопчик? — услышал он старушечий голос над собой.

— Антона Ивановича и Марии Прохоровны сын я, — отозвался Женя, не отнимая рук. — Что с ними сталось? Где они?

— О господи, Явген приехал? — запричитала старушка. — Живые они, в партизанах всем семейством были, вот немчура и порушила хату. Я ж соседка ваша, бабка Авдуля. А твои все у меня живут, на луг пошли, сено косят колхозное. Зараз покличем, прибегут. Вот радости-то будет, — плакала бабка, вытирая передником слезы.

На луг побежали соседские ребятишки, за ними Женя. Отец, бросив косу, рванулся к нему, спотыкаясь как слепой. А мама, худая, постаревшая, схватившись за сердце, не смогла двинуться с места. Аня, Тамара, Петя, Володя облепили его со всех сторон.

— Не думали не гадали, что живой, — выдохнул отец. — В Ленинграде-то сколько людей померло. Мы уж и поминки хотели справить, да мамка не дозволила.

— Живой, сыночек мой родненький, живой, — вскрикивала мать, протягивая к Жене руки.

Пошли в село гурьбой, а за ними следом другие сельчане, бывшие на лугу, — дело шло к обеду.

— Медали, шашка! Герой ты у меня, — радовался отец. — Медаль «За отвагу» для солдата есть главная медаль. Тут все сказано — за от-ва-гу! Слова хорошие, правильные. Такая медаль не хуже ордена, сябруша. У меня тоже «За боевые заслуги» имеется, повоевал в партизанах. Мы ему, фашисту проклятому, давали жару, тысячи березовых крестов наставили, кровопийцы, на своих могилах. Век будут помнить народных мстителей из белорусских лесов. Иван-то наш, братец твой старший, — офицер, в саперных войсках действует. А ты, я вижу, в кавалерии служишь — шпоры звонкие, шашка боевая!

Весь день, почти всю ночь рассказывал Женя о пережитом. Назавтра начали строить времянку, возили на колхозной лошадке лес, тесали бревна. Через неделю, прослышав о первом в селе отпускнике, приехал в Оздятичи райвоенком, познакомился с Женей и попросил его заняться с призывниками. Женя стал командиром, учил боевому мастерству тех, с кем играл когда-то на курганах в войну, учил строевой подготовке, стрельбе. Учил ползать по-пластунски и даже брать «языка».

Провожали Женю в воскресенье. Не пробыл он положенного срока: завладела тоска, стал не спать ночами, все думал, как там его однополчане, как Вольбикас.

…Наступил долгожданный день — 16-я дивизия с боями. вошла в Литву. Всюду — в сел ах и городах — их встречали объятиями, цветами.

В августе 1944 года 2-я гвардейская армия, в составе которой теперь находилась литовская дивизия, вела кровопролитные бои за Шауляй. Фашистские войска предприняли ряд контрнаступлений, но литовские полки стояли твердо. Многие бойцы покрыли себя неувядаемой славой. Снова в дивизии прогремело имя Дануте Станелене. Она отбила тринадцать атак, уничтожила из пулемета десятки гитлеровцев. За эти бои Дануте получила орден Славы I степени и стала обладательницей солдатского ордена всех трех степеней. Отличились братья Станкусы, Харитонов.

Не менее жестоким было сражение за Клайпеду. В октябре сорок четвертого дивизия была награждена орденом Красного Знамени, ей присвоили наименование «Клайпедская».

Потом форсировали Неман, штурмовали Кенигсберг, уничтожали Курляндскую группировку.

День Победы Савин встретил в Юрмале, куда был послан Вольбикасом учиться на курсы младших лейтенантов. Девятого мая утром курсанты должны были сдать последний экзамен и тут же, получив офицерские погоны, отбыть в свою часть. Экзамен

отменили — праздновали Победу. Все обнимались, не стыдились слез. Радость переполняла сердце Жени, и ее не омрачило сухое письмо Клавы, в котором она сообщала, что выходит замуж.

Савин не хотел расставаться с армией. В 1949 году он поступает в пехотное училище. Учиться было и легко, и трудно: суровую практику войны Савин познал с лихвой, а вот теория давалась не просто. И все же осилил он теоретический курс, сдал не хуже других.

Так случилось, что женился он на петрозаводчанке, красивой немногословной девушке, которую звали Нина. Их сблизила любовь к песне, тяга к книге, сблизило тяжелое детство — все годы оккупации Нина провела в Петрозаводске в концлагере.

А назначение лейтенант Савин получил в Заполярье. Началась кочевая гарнизонная жизнь, и всюду с Евгением Антоновичем была Нина Ивановна — заботливая, нежная, добрая. Рождались дети — Валерий, Светлана, Ира.

В 1957 году Савин стал командиром подразделения аэродромного обслуживания. Охрана аэродрома, служба ремонта авиатехники и многие другие обязанности легли на Савина. Жили в военном городке, в стандартном двухквартирном доме.

Приветливая хозяйка, хлебосольный глава семьи, какая-то особая обстановка дружбы, царившая в квартире Савиных, притягивали к себе многих летчиков, техников. Дни рождения, праздничные вечеринки всегда устраивали у Савиных.

Прибывали после училища на суровый Север молодые летчики, набирались опыта, получали новые звездочки на погоны, улетали служить в другие края, а Савины провожали их, встречали новеньких. Все шло по кругу, как и положено.

— Впервые я увидел этого парня на аэродроме, — вспоминает Савин, — после приземления. Стояла ненастная погода, мы включили фонари на полосе, и он пошел на посадку. Все вокруг переживали: новичок ведь, как сядет — снег, обледеневшая полоса. Но все обошлось. После полета пошли вместе домой, разговорились, познакомились. Оказалось, что Юра получил квартиру как раз против моего дома. Он был женат, девочка у них потом родилась. Юра стал заходить к нам по вечерам. Играли в домино, вспоминали всякие веселые истории — у летчиков есть что вспомнить, говорили о былом. Выяснилось, что Юра в прошлом тоже окончил ремесленное училище. Это нас как-то сразу сблизило, подружило. Частенько вместе возвращались с работы, с собрания.

Юра был крепкий малый. Любил колоть дрова, мы соревновались с ним, кто больше за воскресенье дров заготовит.

Выходило всегда не в мою пользу. Когда Юра махал топором, заглядишься: войдет в азарт — не остановишь. Не курил, других отучал от этой вреднейшей привычки. Сколько вечеров на меня потратил, убеждал, отговаривал, а я все — завтра, завтра.

Летом он любил играть в футбол, благо стадион был у нас под боком. Зимой этот стадион летчики под командой Юры превращали в хоккейную площадку. Сумерки у нас в Заполярье ранние, уже темно, хоть глаз выколи, а Юра все клюшкой стучит — готовится к матчу. Занимался он спортом серьезно, потому и здоровьем обладал завидным. Характер у него был веселый, не умел долго сердиться, прощал человеческие слабости.

Жена Юрия Валентина Ивановна, худенькая, тихая, спокойная, больше дома бывала с дочуркой, с Леночкой. Весной, помню, Юра купил детскую коляску, стал возить Леночку на прогулки. Мой сын Валерка очень привязался к дяде Юре, все спрашивал про полеты, про устройство кабины истребителя, часто гулял с ними по двору. Привязался он и к Леночке, катал коляску, гордился, что ему доверяли, бегал к ним домой, нянчился с Леной, а Валентина Ивановна тем временем то в магазин сходит, то по каким другим делам.

Соседствовали мы так два года. Много вечеров за домино провели, за беседами. Помню вечеринку, когда отмечали мое награждение орденом Красной Звезды. Юра хорошо тогда сказал и о моем детстве в солдатской шинели, и о том, за что дают ордена в мирное время. А закончил он памятными словами: в жизни всегда есть место подвигу.

Я не раз чувствовал неподдельный Юрии интерес к моей фронтовой биографии. Рассказывать о прошлом я как-то не любил, но у Юры был подход к людям, умел разговорить. Он подолгу расспрашивал, как я ходил в разведку, что переживал в те страшные минуты под пулями, как относились ко мне взрослые. Тут я всегда вспоминал добрым словом Гену Беляева, сержанта Харитонова, подполковника Вольбикаса, заменивших мне братьев, отца. Юра интересовался, поддерживаю ли я связь с бывшими однополчанами. Признаться, я тогда еще не искал своих боевых друзей, думал, успеется, все еще свежо было в памяти.

— Фронтовым братством надо дорожить, Женя, — говорил он частенько. — Пиши, ищи через архив. Опоздаешь — никогда себе не простишь…

Капитан в отставке Е. А. Савин.

…Однажды приходит вечерком Юра, веселый, улыбка не сходит с лица. Позже об этой его улыбке будут говорить во всем мире.

— Поздравь меня, Евгений Антонович, уезжаю, берут летчиком-испытателем.

Помню проводы, помню, тосты поднимали, слова разные хорошие говорили, желали новых высот. Так и вышло: поднялся наш Юра Гагарин на недосягаемую высоту.

В шестидесятом году уволился я в запас, прослужив в армии с выслугой 25 лет, приехали мы и Петрозаводск, на родину жены, дали нам хорошую квартиру. Через год большой телевизор купили, дети на первых порах не отрывались от голубого экрана. Вдруг Валерка мой как закричит:

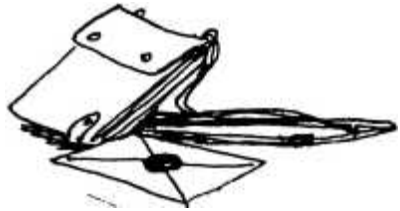
— Папа, мама! Наш дядя Юра в телевизоре! Он в космос полетел! Ура!

Мы с Ниной глядим и глазам не верим: наш Юра, наш Гагарин — первый космонавт планеты.

Давно сменил Евгений Антонович Савин офицерский китель на гражданский костюм. Но есть в его сегодняшней жизни нечто такое, что роднит его с армией — в рабочие дни он надевает синюю форму, а на боку у него пистолет. Уже пятнадцать лет трудится Савин инкассатором в Карельской конторе Госбанка. Навсегда полюбил он этот прекрасный озерный, лесной край. Карелия стала родиной. А Ленинград и Курск? Вильнюс и Минск? Разве это не Родина?

…Евгений Антонович сел к столу, включил настольную

лампу, надел очки, еще раз прочитал строку в газете, набранную большими буквами: «Где ты, отважный разведчик?» И стал писать большое письмо красным следопытам Белоруссии.



ГОЛУБЫЕ ПОГОНЫ

Мелкий, совсем невидимый дождик оседал бусинками на волосы, на грубошерстное детдомовское пальтишко, которое Нина распахнула, пытаясь укрыть блокнотик от влаги.

За высоким забором из колючей проволоки чернели огромные самолеты. По-утиному неуклюже покачиваясь, они выруливали на широкую бетонную полосу. Постояв немного, как бы для того, чтобы глубоко глотнуть воздуха перед броском, самолеты, надсадно урча, разбегались, нехотя отрывались от земли и уходили в хмурое вечернее небо.

Нина рисовала с малых лет. Но когда похоронили маму — перестала. И теперь здесь, в Подмосковье, снова захотелось рисовать. Рисовать эти стремительные, длиннокрылые самолеты и веселых, перекрикивающих гул моторов людей в мешковатых меховых комбинезонах.

Нина сидела у самой проволоки, светлые капельки, напоминавшие слезинки, неподвижно висели на кончиках колючек, отвлекали. Перелезть, что ли? Самолеты хотелось видеть поближе, рассмотреть грозные бомбы. Однажды она уже пролезала под колючкой — ничего сложного: худая, верткая, словно ящерка, раз — и там. И никто не заметил.

— А ну-ка, покажи, что у тебя там? — прогремел над Ниной низкий голос.

Она вжала голову в плечи, самодельный блокнотик, сшитый из тетрадки в клеточку, выпал из ее пальцев.

Военный быстро поднял тетрадочку, полистал.

— Ого! Похоже! — воскликнул он удивленно. — Рисуешь недурственно. Только военные самолеты рисовать не положено. Ты чья будешь?

— Ничья, — прошептала Нина.

— Не понял?

— Нет у меня никого.

— Вот те на. Но ты же где-то живешь, ночуешь?

Нина молчала, ей не хотелось рассказывать о своей тетке, о ее многодетной семье, о тесной комнатке, где Нине не было места. Да и зачем это ему, чужому человеку?

Военный подал ей большую теплую руку, и маленькая ладошка Нины исчезла в ней.

— Почему холодная?

— Я всегда такая.

— Есть хочешь?

Нина молчала.

— Пойдем со мной, — вздохнул военный.

Часовой пристально оглядел Нину, ее приплюснутый, вылинявший беретик, короткое пальтишко, чулки в резинку и неказистые, уже начавшие «просить каши» ботинки.

— Это со мной, — сказал незнакомец командирским голосом.

Вошли в столовую, там еще никого не было. Нина долго мыла руки, села на краешек стула.

— Оля, принеси нам обед, — попросил военный. — Да не гляди ты так — это моя дочка, — засмеялся командир. — Тащи все, что есть в меню!

И тут Нина вдруг поняла, что военный совсем еще молод, что у него веселые, озорные глаза.

— Майор Винницкий, честь имею. А тебя как величают?

— Нина.

— А фамилия, позвольте?

Нина опустила глаза, улыбнулась:

— Чкалова.

— Как-как?

— Чкалова.

— Чудеса, ей богу, прямо дети лейтенанта Шмидта.

— Но я не родственница того знаменитого Чкалова. Я обыкновенная.

— Все равно здорово! Ну что ж, коли так, давай дружить. А друзья всё должны знать друг о друге. Я летчик, летаю на тех вот самолетах, которые ты рисовала. Называются они Ли-2, с такого самолета можно бомбы сбрасывать на головы фашистов, можно продукты, патроны своим выбросить на парашюте. О Гризодубовой слыхала? Да-да, та самая. Наш командир полка…

Нина слушала, но ее отвлекала тонкая бумажка, на которой написано было машинкой: борщ украинский, котлеты, бифштекс с макаронами, яичница, компот из свежих яблок… Нина читала краешком глаза, и у нее все сильнее кружилась голова.

Оля принесла большой поднос, дымящиеся тарелки громоздились друг на дружке.

Майор долго глядел на Нину — как она бережно несла ложку ко рту, как незаметно собрала крошки хлеба и, отвернувшись, бросила в рот.

— Ты, видимо, давно не ела? — спросил Винницкий, когда Нина вытерла губы краешком ладони.

— Я из Ленинграда, — сухо сказала Нина. — Меня вывезли этой зимой. Мама умерла от голода, отец погиб на фронте. Живу у тетки, здесь недалеко, в поселке, но там не до меня, своих едоков хватает.

Теперь майор Винницкий регулярно приводил Нину в столовую, встречал у проходной, там же и прощался. Студено бывало по утрам, когда Нина уходила бесцельно бродить по улицам, иногда рисовала березы, реку, показывала Винницкому. Однажды майор пришел озабоченный, Нина почувствовала это, но спросить не решалась.

— Я улетаю и хочу тебя познакомить с Гризодубовой.

Они пошли к штабу, но там никого не было — комполка провожала самолеты на старте.

Винницкий глянул на часы, показал на заходящее солнце и сказал, чтобы Нина дождалась и все без утайки рассказала Гризодубовой. Ждать пришлось недолго. К штабу подкатила черная лакированная эмка, за рулем сидела женщина в военной форме. Быстро выскочив из машины, она скрылась в темноте коридора. Нина пошла за ней, постучала в дверь кабинета, открыла и сказала:

— Здравствуйте, Валентина Степановна. Это ведь вы?

Гризодубова, крепкая, подтянутая, в черном берете, в кожаной портупее, подняла голову от бумаг, лежавших на столе:

— Здравствуй. Я Валентина Степановна.

Нина большими глазами глядела на посверкивающую звездочку Героя, на орден Ленина, на депутатский значок.

— Я пришла к вам, чтобы вы меня научили летать. Возьмите меня, пожалуйста, в свой полк, — запинаясь проговорила Нина.

— Ну что ты такое говоришь, девочка! У нас не детский сад, а авиация дальнего действия. У меня летчики с такими академиями за плечами…

Не закончив фразу, она стала звонить по телефону:

— Стороженко? Коля, зайди в штаб, у меня тут девочка, кстати, не ясно, какими судьбами проникшая на аэродром, в часть, угости ее летным пайком и проводи.

— Посиди пока, отдохни, — повернулась к Нине. — А то тебя выпусти, ты и спрячешься где-нибудь, знаю я вашего брата.

В кабинет, широко распахнув дверь, вошел полноватый улыбчивый человек.

— Это что за гость? — спросил он, кивнув в сторону Нины.

— Вот пригласи к себе, товарищ полковник, и побеседуй. Летать хочет, видишь ли.

— Сколько тебе лет? — спросил полковник.

— Четырнадцать. Скоро пятнадцать будет.

— Как фамилия?

— Чкалова, — еле слышно промолвила Нина.

— Час от часу не легче! — воскликнула Гризодубова и засмеялась.

— Тебя кто надоумил так говорить?

— Это моя настоящая фамилия. И не смейтесь. Товарищу Валерию Чкалову я никто. Мои родители погибли.

Гризодубова резко встала из-за стола, прошлась по комнате:

— Поговори с ней, Василь Васильич, может, что придумаешь, ты начальник штаба дивизии, у тебя власть.

Бегунов, так звали полковника, сказал Нине, чтобы она подождала его на дворе. Нина помялась, взявшись за дверную ручку, поглядела на Гризодубову.

Валентина Степановна улыбнулась:

— Старшина Стороженко найдет тебя.

В штабе дивизии Нина пробыла долго. В кабинете Бегунова ей стало уютно и покойно.

— Так говоришь, твоя фамилия — Чкалова? Ну что ж, самая летная фамилия, а это совсем неплохо для начала.

— Я думала, что Валентина Степановна другая, — вздохнула Нина. — Она ведь депутат Верховного Совета…

— Ну и что с того, что депутат, — перебил ее Бегунов. — Думаешь, ты первая просишься? К ней и стар и млад идет, а ей нужны летчики! Боевые летчики, ты это понимаешь?

— Понимаю, — прошептала Нина, и оба они замолчали.

— Гризодубова — человек не простой, — проговорил Бегунов уже спокойно. — Вот она тебе показалась грозной? Что ж, она и такой бывает, а бывает и удивительно доброй. Она третьи сутки не спит — у нее один экипаж из полета не вернулся. Связь оборвалась. Хорошо, если сел у своих… Но ты с ней подружишься, я заметил, ты ей понравилась, если, конечно, мы возьмем тебя. А для этого я должен знать о тебе, товарищ Чкалова, как можно больше.

— У меня есть метрика. Справка есть из детдома — я ведь не беглая. Похвальная грамота за последний класс сохранилась, за пятый. Может, принести? Я мигом, только чтоб меня назад сюда пропустили.

— Ну, с документами успеется, ты мне лучше своими словами расскажи про свою жизнь. Время у меня сегодня есть, так

что давай, подруга.

…Жили Чкаловы в центре Ленинграда в старинном княжеском дворце, перестроенном под жилой дом, у самой Невы, окна выходили на Академию художеств, туда, где стояли загадочные древние сфинксы. Были у Нины мама, папа и трое братьев. Жили они дружно и весело. Нина была самой младшей, и ей отец разрешал в день получки первой открывать пузатый портфель. Чего там только не было! Конфеты в шуршащих серебристых обертках, душистые груши, маленькие оранжевые мандаринчики, орешки в шоколаде, пахнущая дымком тонко нарезанная колбаса. Нина аккуратно раскладывала все это на большом столе в комнате и с нетерпением вглядывалась в новые пакеты. Наконец-то! Вот он, новый альбом, кисточки, коробка с красками! Длинные ресницы Нины затрепетали, она бережно прижала альбом и краски к груди, счастливо улыбаясь.

Нина почти не выпускала альбом из рук. Рисовала сфинксов, которые шевелились под мелким дождиком словно живые, мост через Неву, золотую иглу Петропавловской крепости.

Отец работал инженером, строил дома, любил и знал старую архитектуру, часто гулял с Ниной по своим любимым улицам и рассказывал, рассказывал. Они бродили вдоль Невы, у Зимнего, а затем приходили в свою любимую «Новую Голландию», где пахло морем, смоленными канатами.

Папа с мамой были разные люди. У мамы свой мир — медицина. Лечить людей — вот высшее предназначение женщины на земле. К больным она относилась со всей душой, здоровые ее интересовали мало. И отца она полюбила, когда тот был ранен в боях с Юденичем под Петроградом и попал к ней на госпитальную койку.

Братья учились в институте, были намного старше и всегда баловали Нину, снисходительно глядели на скатерть, замазанную красками, на мраморный широкий подоконник, разрисованный цветными мелками, на купанье Нины в старом фонтане, который шумел у них во дворе.

Первые дни войны показались совсем не страшными, а наоборот, интересными. Взрослые почти перестали опекать Нину, словно отгородились. Все дни Нина пропадала около Академии художеств, рисовала снующие по Неве катера, пыталась нарисовать колонну матросов, прошагавших с песней мимо насторожившихся сфинксов, военный корабль с разноцветными флажками на мачте.

И вдруг словно ночь нашла — уехали, наскоро попрощавшись, братья, одетые в шинели, враз ставшие далекими,

чужими. Вскоре ушел добровольцем и отец: ему, старому большевику, красногвардейцу, предложили бронь по возрасту, но он отказался. Мама теперь стала приходить домой поздно: ее больницу превратили в госпиталь, работы прибавилось.

В сентябре Нина впервые услыхала, как воет бомба. Жить стало неуютно и страшно. Когда был налет, дома качались как живые, котелок, в котором булькало варево из крахмала и остатков муки, прыгал по плите. Нина несколько раз заделывала выбитые окна фанерой, когда похолодало, заткнула их подушками братьев. Все чаще и чаще сидела она дома. Чтобы не так хотелось есть, чтобы забыть о холоде, перечитывала «Остров сокровищ», «Дети капитана Гранта». Сначала это отвлекало, но то и дело книжка падала из худых рук, и Нина забывалась в зыбкой дремоте. Город был в кольце. Не стало дров, съедены все домашние припасы. Сто двадцать пять граммов хлеба в день получала Нина. Она то измельчала серый брусочек в крошки и каждый час бережно клала в рот щепотку, то впопыхах жадно съедала сразу, иногда варила из этого хлеба суп.

Мама изредка приносила в кастрюльке похлебку, холодную картофелину, несколько сухариков, бережно завернутых в тряпочку, ругала, плача, Нину за то, что та не протопила печку-времянку разломанным буфетом. Нине ничего не хотелось делать. Укутавшись в одеяла, она изредка пыталась рисовать. Карандаши вываливались, пальцы в перчатках держали их с трудом, поднимать с полу не хотелось. Рисовала булки, яблоки, колбасу, сыр. Рисовала сады, на деревьях росли груши и рогалики, краснощекие мандарины и буханки черного хлеба. Подпись под картинками была одна и та же: «Очень хочется есть». Все реже и реже Нина ходила в столовую при Дворце пионеров, где почти ничего не было, нехотя шла в очередь за хлебом.

Когда начались настоящие морозы, пришла горькая весть: 12 декабря 1941 года в боях у Пулковских высот погиб папа. Нина онемело просидела весь день и ночь, а утром поднялась и побрела по улицам, собрала кое-каких дров, протопила печурку, убрала комнату. Через неделю обзавелась санками, возила воду с Невы, разбирала с соседями деревянный дом, в который попала бомба, подбирала вместе с дворником обессилевших прохожих, проведывала жильцов, отоваривала больным хлебные карточки. Не удивлялась, откуда взялись силы, понимала: папа уже не придет, надо жить по-новому.

Несколько раз Нина ходила на огромное пепелище Бадаевских продуктовых складов — их подожгли фашистские бомбы, ползала на коленях, как многие, собирала из-под снега горелую землю, смешанную с мукой, с зерном, варила на

буржуйке эту землю, процеживала через ситечко, ела, оставляла маме. Мама приходила домой все реже, от голода она слегла в своем госпитале, потом болела дома. Немного поправившись, кое-как добралась до своей работы, снова болела. Солнечным, по-весеннему ярким утром потерявшую сознание маму подобрали у оперного театра, увезли домой, и больше она уже не вставала.

Вдвоем с дворником Нина повезла тело матери на кладбище. Санки скользили легко — все улицы были завалены снегом. Может быть, в тот день, может, назавтра Нина написала несколько строчек. Это было ее первое стихотворение:

Мы увозили матерей на санках…
Был страшен путь, и не было гробов.
И тот же путь пройдут отцы на танках,
Чтоб защитить могилы от врагов.

Дворник и комсомольцы бытового отряда, взломав дверь, вынесли обессилевшую Нину и на тех же санках отвезли в больницу. Оттуда она попала в детдом на улице Демидова. Старая учительница Якубовская — фамилию ее Нина запомнила навсегда — всеми силами старалась отогреть детские души. Но не возвращались к жизни глаза девочки — Нина не хотела глядеть вокруг, читать, рисовать.

Глухой ночью по «Дороге жизни» детдомовцев перебросили через Ладогу, а оттуда повезли в Ивановскую область. Колхозники обогрели блокадных детей, кормили вдоволь хлебом, картошкой, поили молоком. Те, у кого были силы, работали в колхозе, помогали на поле, на ферме. Многие ребята искали родственников, и те приезжали за ними. Нина написала письмо в Подмосковье, тетка откликнулась, позвала к себе.

В июне 1942 года Нина приехала в тесный дом тетки, ей обрадовались, но вскоре Нина стала замечать, а может, ей казалось, что неласково смотрят на нее, когда приходит час садиться за обеденный стол. А потом тетя обнаружила под матрасом у Нины крохотные кусочки черствого хлеба и высмеяла ее при всех за ужином. Хотя Нина и понимала, что прошлое не повторится, все же ничего не могла поделать с собой — недоеденные корочки прятала под матрас, запихивала за щеку перед сном.

Жизнь становилась невыносимой: на работу нигде не брали — мала, в теткином доме она боялась поднять глаза, сказать слово.

…Бегунов вскакивал, садился, вертел в руках пачку

«Казбека», хотя и не курил, зачем-то открывал и закрывал тут же форточку. Когда Нина умолкла, он быстро подошел к ней, положил руку на плечо.

— У меня тоже, — выдавил он, — все погибли. При эвакуации… А жить надо, девочка. Надо! И мы с тобой будем жить и бить ненавистную немчуру. Знаешь, как ее лупят наши летчики! Знаешь, как Гризодубова умеет бомбы в цель положить! От Москвы мы немца поперли? Да еще как!

Бегунов разгорячился, раскраснелся. Подошел к окну, распахнул его настежь.

— Что ты умеешь делать? — заговорил он, кинув быстрый взгляд на часы. — Хочешь печатать на машинке? Не очень? Понятно. Может, на метеостанцию — температуру измерять, скорость ветра, можно карты у них чертить, схемы, ты ведь способная к этому?

— Если нельзя летать, то я бы хотела быть радисткой. У меня слух музыкальный.

— Радисткой — дело серьезное. Тут надо подумать…

— Я буду стараться. Очень буду стараться.

— Тут надо подумать, — повторил Бегунов нараспев. — В общем, я поговорю с начальником узла связи дивизии. Все-таки лучше бы тебе на метеостанцию. А может, в санчасть? Слушай, давай в санчасть! Там докторица молоденькая, Таня, она…

— Я очень буду стараться, дядя Вася.

На третий день она увидела у штаба майора Винницкого. Тот улыбнулся, поманил пальцем, они прошли по гулкому коридору, зашли в комнату, где сидели две машинистки. Одна из них с любопытством глянула на Нину, вынула из машинки лист бумаги, подала Винницкому. Майор улыбнулся и передал его Нине. Земля качнулась и поплыла: «Зачислить воспитанницей 1-й бомбардировочной дивизии дальнего действия Чкалову Нину Федоровну…»

Нина не хотела плакать, но слезы сами покатились из глаз. Это были первые слезы после смерти мамы.

…Старшина Стороженко отвел Нину в портняжную мастерскую, к сапожникам — там сняли мерки. Прошла ужасно длинная неделя, наконец в понедельник Стороженко послал ее к парикмахерам, те сделали Нине короткую стрижку «под мальчика». После бани старшина выдал ей небольшую ладную шинельку, гимнастерку, аккуратные сапожки, пилотку со звездой — настоящую летчицкую пилотку с голубым кантом! На гимнастерке голубели петлицы с золотыми крылышками. Нине казалось, что сейчас от счастья у нее остановится сердце, нечем будет дышать.

— Ну вот! — воскликнул Стороженко. — Теперь ты человек военный. Свой парень, одним словом. Пока будешь жить в хозяйственной палатке, там тепло, да и помощник мне требуется…

Стороженко показал Нине дома, где жили летчики, техники, завел ее на метеостанцию, в санчасть, в клуб, где иногда вечерами крутили кино, предупредил, чтобы не ходила на аэродром, на взлетную полосу.

— Матушка увидит — таких чертей всыплет и мне, и тебе.

Нина уже второй раз слышала, как Гризодубову называли Матушкой.

— А мне так хочется провожать летчиков, когда они улетают на задание. Матушка провожает — и мне хочется.

— Фрукт еще не созрел, — сказал непонятно старшина. — Всякому овощу свое время. Поживи, оглядись, примелькайся. А то все сразу хочешь, бисова душа, и в радистки, и на стартовую полосу…

Нина «примелькалась» быстро: вместе со всеми просыпалась по команде «Подъем!», делала зарядку, умывалась в речке, если светило солнышко.

На речке познакомилась она с молодыми летчиками Николаем Слеповым и Георгием Чернопятовым. Пыталась нырять ласточкой, как они, с крутого бережка, делать стойку на руках. Не выходило, но пилоты не смеялись, видя, как терпеливо изо дня в день Нина добивалась своего.

— Уже чуток получше, скоро нас перегонишь, — утешал ее Чернопятов. А Слепов не мог угомониться — уже который раз допекал Нину:

— Все же ты нам не доверяешь, подруга. Но чует мой внутренний барометр, что Чкалов тебе родня. Вот я к тебе все эти дни приглядываюсь — чтоб меня гром ударил, сходство с Валерием Павловичем есть.

Нина захохотала, закинув голову, — смеялась впервые за многие месяцы, а потом с разбегу бросилась ласточкой в реку.

Летчики исчезали дня на три, потом снова появлялись на реке.

— Куда летали? — спрашивала Нина.

— На кудыкину гору, — улыбался Слепов.

— Много будешь знать — скоро состаришься, — подхватывал Чернопятов.

— Очень опасно?

— Пустяки, — махал рукой Слепов.

Однажды под вечер, когда Нина заканчивала переписывать пятую страницу инвентарной складской книги — Стороженко

сразу оценил ее красивый крупный почерк, — вдалеке печально заиграл духовой оркестр. Нина, словно подхваченная ветром, выбежала из палатки, догнала небольшую колонну. Первой за гробом шла Гризодубова. Нина пристроилась в хвосте колонны, пошла в ногу, но слезы стали душить ее, летчик, шедший впереди, покосился, мотнул головой назад, дав понять, что Нине надо возвращаться.

Уже позже, глубокой осенью, они пошли на кладбище с Чернопятовым и врачом Таней Черниковой. Тогда там было всего несколько могил. Холмики свежие, не поросшие травой. На одной могиле воткнут пробитый пулями пропеллер.

Нина насобирала красноватых кленовых листьев, Таня и Георгий тихонько говорили о тех, кто погиб и лежит здесь. Потом они укрыли могилки листьями и побрели домой.

С первыми холодами Нина перешла в большой дом, где жили летчики, где жили все женщины-военнослужащие, там ее утром и нашел посыльный из штаба дивизии. Разговор у Бегунова был коротким: Нину могут взять ученицей на дивизионный узел связи.

Через пять минут запыхавшаяся Нина, лихо козырнув, уже представлялась майору Панову. Тот долгим взглядом оглядел Нину, поговорил с ней немного и провел в большую комнату, где работали в наушниках радисты, были тут и мужчины, и женщины. Они сидели согнувшись перед длинными ящиками радиостанций, изредка нежно подправляя круглые колесики настройки. Справа у зашторенного окна сидела худенькая женщина в разглаженной чистой гимнастерке, ее правая рука напряженно лежала на головке телеграфного ключа.

— Твоя учительница Мария Ивановна Батькова, — шепнул майор и тронул радистку за плечо, когда та закончила передавать радиограмму.

— Это Нина Чкалова, сделай из нее человека, Маша.

Мария Ивановна быстро обернулась, указала на табуретку, стоявшую рядышком. Нина подсела к ней и стала смотреть, как быстро вибрировала у радистки рука, выбивая еле слышную дробь. Батькова коснулась последний раз ключа, повернулась к Нине, тихонько заговорила:

— За серьезное дело берешься. Не спасуешь, ведь пройдет много времени, прежде чем тебе доверят боевое дежурство? Хватит ли терпения? Слух у нас нужен особый, если хочешь — нужен талант, наши ошибки дорого стоят.

— Я все одолею, вот увидите.

Началась новая, интересная жизнь. Когда выдавался свободный час, Мария Ивановна рассказывала о задачах узла

связи, об устройстве радиостанции.

Улетают за многие сотни километров тяжелые самолеты, пересекают линию фронта, попадают под обстрел немецких зениток, охотятся за ними коршуны-истребители, но самолеты летят вперед: в глубокий немецкий тыл к партизанам или бомбить врага, и всюду за ними тянется невидимая нить радиосвязи. Обо всем сообщает на Большую землю Ли-2: как пролетел над передовой, как отбился от наседавшего «мессера», как вышел в район бомбежки, куда положил бомбы, во сколько часов и минут взял курс на родной аэродром.

Несколько полков входило в дивизию, и у каждого полка на связи были свои радисты. Мария Ивановна, а с ней и Нина были закреплены за 101-м полком, которым командовала подполковник Гризодубова. Случались дни, когда по тридцать самолетов во главе с Гризодубовой вылетали в немецкий тыл, и с каждым надо было держать связь. Над лесами, над нолями, через полстраны, заглушаемая помехами, пробивалась в Подмосковье еле слышная морзянка, выбиваемая радистом самолета, затерянного в ночном небе.

Летали ночью — так легче было уйти от истребителей, прокладывали курс подальше от городов, где могли быть зенитки, забирались на три-четыре тысячи метров. В длинную осеннюю ночь успевали иногда слетать дважды. Экипажи возвращались домой, и радисты спешили передать их радиограммы в штаб полка: «Задание выполнил. Иду на базу». Радисты дежурили круглые сутки, работали в три смены, ночная — самая главная, самая ответственная, самая нервная.

Марии Ивановне было не много лет, но за ее хрупкими плечами был большой жизненный опыт. Коренная москвичка, была учительницей, перед войной назначили директором школы. Внешне казалась сухой, молчаливой. Тут крылась своя причина: недавно, тяжело заболев, умер ее маленький сынишка, не успела прийти в себя— получила похоронку на мужа. Батькова замкнулась, ушла с головой в работу, больше ее ничто не занимало. К Нине она привыкала тяжело. Но как-то вдруг заметила, что эта робкая, растерянная девочка с такой же печальной судьбой становится ей с каждым днем ближе, роднее. Оправдался нехитрый расчет Панова: все тепло своей души Батькова стала отдавать Нине. Она водила ее в баню, плакала над Нининой худобой, расчесывала ее колючие густые волосы, учила подшивать накрахмаленный воротничок, следила, все ли съедает Нина в столовой.

За час, за два до смены они приходили на узел связи, садились к учебному столу. Нина надевала наушники, Мария

Ивановна медленно выстукивала буквы.

— Одно дело на бумаге — точки, тире, другое — помнить каждую цифру и букву на слух. Помнить как бы автоматически, не раздумывать — тут же, в мгновение записать на бланке радиограммы, ибо за ней уже бежит следующая. Бывают радисты — быстрее пулемета строчат. И надо успеть, а тут еще помехи или слабый сигнал. Мы на курсах под руководством опытных радистов пели про себя буквы, чтоб легче заучить, есть специальные фразы такие. Ну-ка, слушай, что выходит: «тетя Катя», «тетя Катя» — это «ф». Есть еще «дай, дай закурить» — это цифра 7, «я на речку шла» — двойка, «баки текут» — буква «б», «идут танкисты», «и только одна» — много всякого…

В голове у Нины весь день и всю ночь роилась, жужжала морзянка, пищала комариком. Ей и сны начали сниться необыкновенные: важная, с толстой длинной косой идет к речке тетя Катя. Плавно качаются на коромысле большие ведра. И вдруг, откуда ни возьмись, навстречу ей танки — в пыли, в дыму. У переднего с лязгом открывается люк на башне, и усатый белозубый танкист, похожий на Георгия Владимировича Чернопятова, кричит: «Тетя Катя, дай закурить! Баки текут!»

Нина старалась изо всех сил, но пока получалось не ахти как. Буквы путались в голове, схватывало судорогой пальцы, сжимавшие черный, лоснящийся каштанчик ключа.

Рука немеет, в голове туман,
Морзянка роем надо мною реет.
Как тяжело радиста ремесло,
И все же я его, поверьте, одолею!

Батькова, Винницкий, Бегунов были едины в том, что Нине надо ходить в школу. Мария Ивановна как-то съездила в Москву, привезла из дому тетрадки, пенал, перья, чернильницу-непроливайку, несколько учебников, а главное — пионерский галстук.

— Я заходила в школу, здесь, в поселке, договорилась обо всем, тебя берут в шестой класс, Нина. С командованием согласовано, Бегунов так и сказал: война войной, а Нине надо учиться. И учиться хорошо — на тебя все в классе будут смотреть по-особому. «Четверки» и «пятерки» — вот твои пули по немцам.

Нина подшила свежий подворотничок и белые полоски на манжеты гимнастерки, сложила книги и тетради в старенькую летную планшетку, подаренную по такому случаю Винницким, и отправилась в школу.

На первых порах Нине удавалось казаться солидной,

немногословной. Еще бы, она не раз слыхала, как хвастались мальчишки ее класса перед шестым «б»:

— А у нас военная девочка!

Щеки у Нины расцветали, она еще прилежнее склонялась над тетрадкой. Записки от мальчишек сыпались к ней и на переменке, и на уроках. Нина была невозмутима, все внимание — учебе.

— Мое сердце отдано авиации, — говорила многозначительно Нина осмелевшим мальчишкам, звавшим ее после уроков то на каток, то в кино. Еще выше поднялся ее авторитет, когда в школьной большой стенгазете появились стихи Нины Чкаловой:

Комиссары на красных конях
Нашу юность ковали в боях,
Чтобы сильными мы, полковые сыны,
Выходили всегда из огня.

Рядом Нина нарисовала красную конницу, летящую подобно урагану. Пионервожатая, директор школы похвалили Нину, ребята выбрали ее в редколлегию.

Нина всегда училась только отлично, но сейчас ей было трудно. Иногда она приходила в школу после ночного дежурства, бывало, что не успевала сделать домашнее задание. Своим ребятам, даже учителям, даже тетке — к ней она забегала несколько раз — Нина не рассказывала, чем занимается на аэродроме, — так ей приказал Бегунов. Вначале Нине хотелось научить ребят азбуке Морзе, организовать кружок, но Мария Ивановна рассудила по-иному:

— Спешить не надо. Вот когда сама все изучишь, сдашь экзамен на радиста, тогда посмотрим.

Нина вздохнула, надела наушники, стала передавать учебную радиограмму: «Капитану Чернопятову. Я — „Чайка“, как слышите меня, как слышите? Я на речку шла, я на речку шла. Почему не заходите на узел связи? В далекий край товарищ улетает. Почему вы забыли меня, товарищ Слепов? Скорее бы лето. Будем купаться снова. Капитан, капитан, улыбнитесь». Слова складывались сами собой, Нина увлеклась и не заметила, как вторые, контрольные, наушники взяла Мария Ивановна, послушала, усмехнулась и незаметно сняла.

Радиограммы, которые шли в эфир, представляли собой пятизначные колонки цифр или букв, и радисты никогда не знали, что они передают или принимают. Приняв радиограмму, радист отдавал ее шифровальщику, тот быстро находил код и тут же переводил.

Радиограмму немедленно передавали дежурному по связи в штаб.

Однажды на узел связи зашла Гризодубова:

— Ну как, получается?

— Пока не очень, товарищ подполковник, — виновато сказала Нина, поднимаясь с табуретки, но рука Гризодубовой усадила ее на место.

— Молодец, что правду говоришь. Так держать и впредь. Можешь звать меня Валентиной Степановной, — сказала она, улыбнувшись. — Терпение и труд все перетрут. Желаю успеха, чижик, — шепнула она, наклонясь и поправляя на Нине пионерский галстук.

…Нина уже вторую неделю рылась в клубной библиотеке, но кроме статьи о рекордном полете экипажа Гризодубовой на аэроплане «Родина» ничего не нашла. Похожую статью читал в «Известиях» сентябрьским вечером 1938 года отец, усадив, как обычно, Нину к себе на колени.

Отважные летчицы Полина Осипенко, Мария Раскова и командир экипажа Валентина Гризодубова совершили перелет небывалой дальности: Москва — Дальний Восток, пробыв в небе двадцать шесть часов и пролетев без малого шесть тысяч километров. Летчицы доказали, что могут летать не хуже мужчин, что и они обладают волей, смелостью и уменьем. За мужество и высокое мастерство всем троим было присвоено звание Героя Советского Союза. Нина отчетливо помнила фотографию в газете: три подруги стоят, обнявшись, перед самолетом, три первые женщины-героини.

Кто тогда не знал имен Валерия Чкалова и Валентины Гризодубовой! Эти два имени гремели над нашей молодой страной, как радостный весенний гром. Тысячи мальчишек и девчонок восторгались ими, хотели походить на них, мечтали стать летчиками.

Для Нины будущее было ясным — она будет художником, и поэтому перелет экипажа Гризодубовой стал для нее темой очередной картины. Приветливо сияют в ночном небе звезды, сережкой висит месяц, а под ним распростер крылья серебристый самолет. Внизу земля, светлячки городов, справа на картине ночь светлеет и вот-вот первые лучи солнца вырвутся из-за края земли.

Батькова, узнав, что Нина всерьез интересуется биографией Гризодубовой, направила ее к инженеру полка Милованову, старому летчику, летавшему еще до революции на первых русских самолетах.

— Я много слыхал о ее отце Степане Васильевиче, — Милованов повел разговор с Ниной как с равной. — Был он

толковым авиаконструктором, хотя при царе этого не понимали, не оценили его таланта. Да, многим тогда ходу не было, уж я знаю. Самородок он был, самоучка, сам до всего дошел, своим умом постиг. Мотор сам сделал! Понимаешь? Вот и наша Матушка вся в него. Конечно, это отец передал ей любовь к крыльям. От него и характер — пробивная, смелая, перед начальством высоким не выслуживается, своих в обиду не даст никогда. Но крута бывает, уж если расхлябанность или трусость увидит — держись.

— Не все же могут быть смельчаками, — прошептала Нина.

— Это ты брось, милая, в мужчине всегда ценили наперед всего отвагу.

— Так то в мужчине.

— Военную форму надел — значит, воин ты, значит, обязан быть смелым — и точка. Есть у нас тут один летчик, не буду его называть, тоже, как все мы, из гражданской авиации, полетел он на бомбежку, попал под зенитный огонь. То ли прожектора его ослепили, то ли тряхнуло взрывом снаряда, стал бояться. В кабину садится — дрожит как заяц, а сам, между прочим, богатырь, здоровяк. Матушка с ним разговоры вела и так и эдак. Могла бы отчислить — нет, возится. Наконец, села сама к нему в самолет, его рядом посадила на место второго пилота. Полетели они, вдруг снова прожектора, как осьминоги, опутали их своими щупальцами, вокруг рвутся зенитные снаряды, а Матушка улыбается, песню запела. Воспитывать собственным примером — это, брат, не каждый может. А Валентина Степановна может! За это летчики и любят ее как родную, Матушкой зовут. Однажды при бомбежке набросились на самолет Гризодубовой несколько немецких истребителей, летчики — к ней, заслонили собой, ударили из турельных пулеметов, отогнали фашистов. В корень глядел тот, кто назначил ее командиром полка. Где такое было — женщина командует тысячей мужчин! Да еще как командует! Мы в июне сорок второго только сформировались, только начали, а уж сколько сделали. А сколько сделаем!

…В столовой радистки, медсестры, метеорологи сидели своими группками. Если летчики не летали, они тоже приходили на обед вовремя, всегда громкоголосые, шутили с официантками, переговаривались с радистками.

Нина вытягивала шею, искала своих — Слепова, Чернопятова, Лунца. Борис Григорьевич Лунц давно уже обратил внимание на тонконогую девочку в отутюженной гимнастерке с пионерским галстуком.

— Наслышан о твоих рисунках, покажешь? — спросил он однажды без всяких предисловий, подсаживаясь после ужина к

столу, где сидели Мария Ивановна, Нина и радистка второй смены Саша Ситникова.

— Покажет, — улыбнулась Мария Ивановна, что бывало с ней редко, — а вы, товарищ капитан, ей про Матушку поведайте, мы ведь, земные черепахи, многого не знаем.

— Понимаете, нам в школе задали написать сочинение на тему «Идет война народная», — бойко начала Нина, — вот я и решила написать целую тетрадь о Валентине Степановне. Но знаю я о ней мало.

— Договорились, — сказал Лунц. — Все расскажу, что знаю и что можно. То, что ты решила написать о Гризодубовой, разумеется, похвально, однако надо будет соблюдать военную тайну. Тут я тебе тоже помогу.

Бориса Григорьевича любили в полку. Ценили его юмор, шутку, сердечное слово, добрые дела. В его душе звучала какая-то особая струна, которая сразу откликалась на чужую беду, боль, обиду. Лунца поразили еще не оттаявшие, печальные глаза этой ленинградской девочки, разучившейся громко смеяться и все пытавшейся согреть руки под мышками при каждом удобном случае. Возможно, ему не так хотелось взглянуть на рисунки юной художницы, хотя о них не раз ему говорили и Жора и Николай, как просто побеседовать с ней, отвлечь от сиротских дум какой-нибудь смешной историей, которых он знал великое множество.

Тогда, в столовой, они засиделись допоздна. Нина слушала Лунца, положив руки под подбородок. Он рассказал о том, как вместе не один раз летали с Валентиной Степановной на бомбежку, о том, что у комполка есть маленький сын, который живет в Москве с бабушкой, и о том, какие песни любит петь украинка Гризодубова. Наконец поведал о геройском подвиге, который совершила летом на родном аэродроме Валентина Степановна:

— Отбомбившись благополучно, мы садились на свое поле. Все сели, все в порядке. Матушка, как всегда, была на стартовой полосе. Собралась уходить и вдруг видит, как, не дотянув до посадочного знака, подломив шасси, высекая яркие искры в ночи, садится Ли-2 соседнего полка. Миг — и самолет загорелся. Не раздумывая Гризодубова побежала к нему. Ей кричали, что сейчас взорвутся бензобаки, боезапас. За Гризодубовой устремились два наших моториста, летчик Виктор Орлов. Они взломали дверь, которую заклинило при посадке, вытащили оглушенный экипаж. Только оттащили людей в сторону, на безопасное расстояние — взрыв под самые тучи. Вот так-то. А рядом ведь стояли мужчины, офицеры того же полка, чей был самолет. Вот в этом поступке —

она вся! За такое памятник не грешно поставить. А что, может, когда-нибудь и соорудят. О чем она думала, когда бросилась в огонь? Да у нее сын-кроха, сиротой останется. Какая силища духа, какая воля, какая любовь к ближнему! Вот об этом ты и напиши. Порассуждай о нашем советском характере, попытайся понять, почему так поступают люди. Помнишь легенду про Данко? А это чем не легенда? Слушай, Нина, а может, тебе нарисовать об этом картину?

Лунц угадал мысли Нины. Конечно же, она нарисует, и еще как! Нина чуть прикрыла глаза и увидела зримо: чернильная мрачная ночь, огромные клубы жирного дыма, фигура женщины, несущей раненого. Ее лицо освещают светлая полная луна и сполохи пламени, на фоне которого виден четкий, гордый ее профиль…

Сочинение Нины Чкаловой читали на сборе пионерской дружины школы, рисунок повесили в классе. Последняя строка в сочинении была: «Моя заветная мечта— хоть чем-то быть похожей на нашу Матушку».

Нина была на седьмом небе, ей хотелось рассказать об этом событии всему полку, всем своим на узле связи. Но она представила себя на месте Гризодубовой и поняла— та никому не похвасталась бы. И все же Нина сказала одному человеку — Бегунову. Бегунов всегда справлялся о ее успехах, не переставал повторять:

— Главная твоя задача, Ниночка, — отличная учеба в школе. Не посрами свою дивизию, свой полк.

— А учеба на узле связи?

— Это тоже надо, но это успеется. Тут учеба долгая, кропотливая. Сама понимаешь, пока боевое дежурство мы тебе не можем поручить. Вот подрастешь, повзрослеешь…

— Конечно, мне до Маши Микашенович как до звезд, но многое я уже могу. Азбуку выучила, могу передавать, правда, медленно пока, принимаю радиограммы с самолетов.

— Знаю, все знаю, но признайся, ошибки бывают?

— Бывают, — горестно ответила Нина.

— Печалиться так уж не стоит, мне Батькова сказала четко: из Чкаловой толк будет, но попозже.

— Я буду стараться.

Вечером Нина достала свой заветный блокнот, записала новое стихотворение:

Я дочерью полка была
В дивизии большой
И доброту людей несла

Как факел над собой.

Наступили холода, а Нина, ловя снежинки на ходу, бегала в гимнастерке. То отнесет бумаги в штаб дивизии, которые переписывала по просьбе Бегунова своим четким почерком, то забежит к механикам поглядеть, как устроен мотор самолета, изредка заглядывала к Николаю Стороженко. И однажды на сквозняке простудилась, положили ее с температурой в санчасть. Таня Черникова опасалась, что воспаление легких, но обошлось. Вскоре Нина уже помогала ей резать бинты, крутить тампоны, кипятить инструмент, мыла полы в палатах. Однажды ночью захлопали тревожно двери, застучали сапоги, громко заговорили, срываясь на крик. Дежурная сестра побежала за Таней, в палату внесли на брезентовых носилках стонущего летчика. Его раздели, рана в боку была страшной. Таня сделала укол, и раненого тут же понесли в операционную. Потом принесли назад— тихого, спокойного. Утром он пришел в себя и стал звать командира своего экипажа. Нина смачивала ему воспаленные губы холодным чаем, а он не унимался.

— Здесь командир, здесь, нас вместе несли. Посмотри, сестрица. Скажи, что с ним, сестренка? Погляди пойди.

Нина заглянула в соседнюю палату, в операционную— никого. В холодном коридоре тоже пусто, в конце его, там, где была кладовка, висел брезентовый полог, Нина откинула его и обмерла — на тонком полосатом матрасике лежал мертвый летчик в комбинезоне, в унтах.

Она отошла на цыпочках, прижалась лбом к холодному оконному стеклу, закрыла глаза и стояла так долго-долго, пока не прошла противная мелкая дрожь в ногах. Нина вошла в палату, опустилась на колени у кровати раненого.

— Дядя, он жив, он велел передать вам боевой привет, — вырвалось у нее само собой, — говорит, что еще не раз полетит с вами громить фашистов.

С того дня Нина твердо решила провожать самолеты. Как только будет вечером свободная минута, она побежит на стартовую полосу. И пусть ее там увидит комполка, пусть выругает, она найдет что сказать в ответ.

Вскоре после госпиталя Нина была в наряде на кухне. Мыла посуду, чистила картошку до одурения, носила воду, одним словом, помогала поварам. Утром она увидела Гризодубову, которая пришла по обыкновению спять пробу: командир полка завтракает первым — должен знать, как кормят его подчиненных.

— Разрешите обратиться, товарищ подполковник? — сказала

Нина.

— Доброе утро, чижик. Как живется? Садись чай пить.

Нина знала: если Гризодубова называет чижиком — значит, хорошее настроение.

— Позавчера с Батьковой принимала ваши радиограммы. Приняла без единой ошибки, — с гордостью доложила Нина.

— Старательная девчушка, не гнушается никакой работы, — вставил главный повар. — Нам бы такую на все время.

— У нее свои ночные смены есть, ребята, не менее ответственные, тут у вас еще можно пересолить, недосолить, а там, брат, на узле связи… Слушаю тебя, Нина.

— Можно мне иногда провожать наши самолеты, там, на полосе? Всегда ведь женщины провожали мужчин, шедших в бой. У меня друзья есть: Слепов, Лунц, Чернопятов, вас, товарищ подполковник… Валентина Степановна, хочу провожать…

Гризодубова отложила ложку, глотнула крепкого чая из кружки:

— Что провожать, чижик! Лучше встречать! Провожаешь — закрадывается невольно печаль: прилетит ли? А тут радость — прилетели! Ну это ты, когда повзрослеешь, когда полюбишь кого-то, тогда поймешь. Ну, а коль твердо надумала — приходи. Только не суйся под винты. Соблюдай правила, на старших поглядывай — как они, так и ты.

…Планы фашистов о быстротечной войне на Востоке провалились. Гитлеровцы обломали зубы о несокрушимую оборону Ленинграда, битые, мороженые, откатились от Москвы, вот-вот сомкнутся стальные клещи у Сталинграда, туда бомбить окруженные войска немцев летали самолеты дивизии. Плохи были дела гитлеровцев и на оккупированной территории. Повсюду возникали партизанские отряды. В Брянских лесах, в Белоруссии, на Украине действовали целые партизанские бригады. Командовали ими известные люди: Ковпак, Сабуров, Заслонов, Федоров, Козлов…

На первых порах партизаны сами обеспечивали себя оружием, не гнушались и трофейным, но этого было мало. Не хватало мин, гранат, головых шашек, медикаментов, сковывали маневренность отрядов раненые. Центральный штаб партизанского движения, находившийся в Москве, возложил на авиацию дальнего действия ответственнейшее задание — помогать партизанам.

К концу 1942 года полеты в партизанские края стали привычным делом. Летчики сбрасывали грузы на парашютах, а если был в лесу оборудован мало-мальски приличный аэродром — садились и попадали прямо в объятия партизан. Боеприпасы

быстро выгружали, вносили двадцать — двадцать пять раненых, и самолет взмывал в небо, уступая место следующему.

— Да, не забыть нам первую посадку в Брянских лесах, — рассказывал Нине и Марии Ивановне Чернопятов. — Ночь кромешная, прошли пару раз над квадратом — ничего. Потом вдруг зажглись сигнальные костры. Что там у них за поляна, что приготовили для посадки — неясно. Сажусь — бросает на кочках, но все благополучно. Выходим из самолета, а к нам бегут сотни людей. Как нас там обнимали! Дедок один подбежал, плачет: «Наши прилетели, родненькие, кровные». Щупает куртку мою, обнимает. Мне слово сказать надо — не могу, горло сжало, молчу, папиросами угощаю, «Казбек» у меня был. Все спрашивают, как Москва, как там на Большой земле. Мы не успевали отвечать, да тут и слова нужны какие-то особенные — ведь мы же почти из столицы прилетели! У меня газета была, «Правда», я им отдал — что тут было! «И мне, и мне, в наш отряд выделите!» Стали мы потом газеты возить, журналы… Время пролетело как один миг, а нам спешить надо, пока темно. В самолете всюду раненые, больше, чем положено. А как объяснить, что нельзя всех взять — перегрузка, самолет не взлетит. Не дай вам бог, девочки, видеть глаза тех, кого пришлось высаживать. Взлетели еле-еле, так и казалось, что сосны задену крылом…

Нина осталась верна первой дружбе — никого так не ждала она из полета, как Жору Чернопятова и Колю Слепова — так их запросто звали в полку.

…За окнами теплой комнаты узла связи летит косой пушистый снег. На исходе ночи, когда больше всего хочется спать, Мария Ивановна и Нина вслушивались в эфир. Шумело, потрескивало, пищало в наушниках. Нина дублировала Батькову, сидела с ней рядом за ее радиостанцией.

— Мария Ивановна, товарищ сержант, слышите, слышите? Это Жорин бортрадист. Я уже узнаю его. Он, точно он, записываю.

Радиограмма была очень коротенькой, и это встревожило Нину. Она толкнула Вадима Пожидаева, дремавшего на стуле, тот мигом принялся за расшифровку.

— Ну что там, Вадимчик, миленький? — торопила Нина, пряча, как всегда, руки под мышки. Вадим был очень молод и не обижался на такое обращение Нины.

— Танцуй, пионерка, да получше, чем вчера.

Нина смущается, достает белый кружевной платочек, вскидывает руку, делает плавно проходочку, плывет вокруг Вадима.

— Летит твой цыган, никуда не делся. Задание выполнил полностью! — кричит, улыбаясь, Пожидаев и уходит с

радиограммой к дежурному по связи.

Батькова, поняв Нину без слов, кивает головой, та мигом накидывает шинель и бежит на полосу.

Буравя мощными фарами ночь, медленно надвигаясь из темноты, заштрихованной косым снегом, садится самолет. Подруливает санитарный автобус, из самолета выносят раненых, больных. В дверях появляется Чернопятов.

— Георгий Владимыч! Я здесь! С благополучным возвращением, товарищ капитан!

Чернопятов подхватил Нину на руки, потом бережно опустил на бетонку, прикрыл полой меховой куртки.

— Поглядим, какое благополучие, — хмыкнул Чернопятов, подходя к правому крылу, где светлели рваные пробоины.

— Ого, сколько! — выдохнула Нина, нежно погладив зияющие раны.

— Еле отбились от «мессеров», думал, уже не видать мне тебя, моя добрая фея. Все время в полете вспоминал: на приеме сидит наша Ниночка, держит ушки на макушке.

— Сидела, глаз не смыкала. Я первая вас поймала, товарищ капитан, когда вы сообщали, что пересекли линию фронта. Плохая слышимость была, но я нащупала.

— Легко сказать, пересекли. Подлетели к передовой — откуда ни возьмись, прожектора, мы ведь обходим стороной города, станции, идем, так сказать, тихой сапой. Нащупали, вцепились как клещи, повели. Вот и «букетики» расцвели вокруг. Неужели достанут! Ныряю резко вниз и вправо. Вдруг рядом с кабиной лента трассирующих снарядов, да еще с моей стороны. Красиво летят, но спасибо — не надо! Снова скольжу вправо, наконец темнота — вырвались, ушли. Глянул на своих ребят — повеселели. Бортрадист на радостях отстучал тебе радиограмму…

Чернопятов давно понял, чем ему близка эта тихая девочка, так наивно искавшая среди летчиков надежное, крепкое отцовское плечо. Похожими судьбами наделила их жизнь: он, Чернопятов, тоже сирота, тоже воспитывался в детдоме, тоже, когда был мальчуганом, мечтал до слез встретить сильного, красивого, смелого человека, который стал бы для него братом, отцом.

…Устанавливалась хорошая погода, летчики радовались: можно сделать больше рейсов к партизанам.

Нина дежурила в ту ночь, когда от Слепова поступила радиограмма, что везет он полный самолет партизанских детей. Несколько радисток, работники санчасти, офицеры, дежурившие на командном пункте, во главе с Гризодубовой поспешили на разгрузочную площадку. Самолет сел на бетонку, подрулил, сразу

же распахнулась дверь. Первым выскочил в одной гимнастерке Слепов, приставил лесенку, за ним спустились второй пилот, бортрадист — тоже без меховых курток. Стрелок и штурман подавали им детей, укутанных в теплую одежду летчиков. Метался снег, сек лицо. Все бросились к детям, брали бережно на руки, несли бегом в землянку неподалеку. Нина тоже подхватила крохотную кашляющую девочку в рваной долго-полой фуфайке и летних парусиновых туфельках.

— На высоте летели, спасались от зениток, — ежась от холода, кричал Слепов. — Тысячи на три забрались, холодина жуткая, градусов под тридцать, все с себя сняли. Вот заболею, товарищ комполка, слягу в санчасть, если сию минуту не выдадут положенных сто грамм для сугреву.

— Да уж выдадут, не бойся, — отвечала ему в тон Гризодубова.

— Как же вы так, Николай Игнатьич! — забеспокоилась Нина.

— Мои летчики сделаны из стали, чижик! — крикнула Гризодубова, набрасывая свою куртку на широкие плечи Слепова.

Отзвенела капель, зазеленела вокруг бетонки трава, наступило лето. Нина отлично закончила шестой класс. В честь этого события тайком ото всех Слепов дал ей дважды выстрелить из пистолета в старое толстое дерево, а Лунц купил где-то кулек розовых подушечек с повидлом, пять бутылок лимонада и предложил отпраздновать успех Нины в столовой после ужина.

В тот вечер Борис Григорьевич был в ударе. Рассказывал о знаменитом Ковпаке, к которому летал десятки раз — возил тол, медикаменты, автоматы и даже настоящие пушки, после чего среди немцев пошли слухи, что с ними воюют не партизаны, а регулярные части Красной Армии, выброшенные с самолета, потому так успешно и проходят операции красных.

Фронт отходил на запад, перебазировался поближе к передовой и 101-й полк. В немецком тылу рождались все новые и новые партизанские отряды — работы у летчиков прибавилось. Все чаще и чаще зачитывала Гризодубова перед строем указы о награждении пилотов, штурманов, стрелков, техников орденами и медалями. Обычным делом стали красочные «молнии», нарядно оформленные поздравления награжденным, которые рисовала Нина. Она видела, что это очень нравилось награжденным, нравилось Гризодубовой, и старалась изо всех сил.

Пришла новая зима. Однажды Нина прямо из школы прибежала на узел связи — глаза ее лучились, щеки разрумянились. Не говоря ни слова, Нина сбросила шинель, одернула гимнастерку, повернулась к Батьковой — над левым

карманом алел новенький комсомольский значок.

А дым войны на горизонте таял,
И звезды щедро сыпались в закат.
Мы шли на запад! Улетали!
Орлы вели своих орлят.

…У Нины все дни приподнятое настроение — скоро будет освобожден ее родной героический город, самолеты все чаще летают к партизанам Ленинградской области. Как Нине хотелось пролететь над городом на Неве, хоть краешком глаза увидеть свою улицу, свой дом. Уцелел ли?

Снятие блокады Ленинграда, удачные бои за Красное Село, за которые полку было присвоено наименование «Красносельский», отмечали все вместе в столовой. Одна песня сменяла другую. Матушка села за пианино, ударила по клавишам. Пели «Землянку», «Темную ночь», «В далекий край товарищ улетает». Штурман Алексей Буланов, который славился на всю дивизию своей храбростью и своим чудесным голосом, запевал:

Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.

Это была любимая песня летчиков, настоящий гимн советской авиации.

…Наши уже вышли к государственной границе. Самолеты дивизии начали летать к партизанам Югославии, Чехословакии, бомбили вражескую оборону, помогая нашим войскам освобождать Прибалтику, Польшу.

Наступил последний год войны. Под Варшавой светлым весенним днем Нина, как обычно, пришла на дежурство, она уже давно сдала экзамены, и ей доверили боевую работу. Батькова сидела у рации с заплаканными глазами.

— Слепова сбили, — прошептала она. — Погиб наш Слепушка.

Все закружилось перед Ниной, она, обмякнув, опустилась на табуретку, не мигая глядела на шкалу радиостанции, затем схватила наушники, ее быстрые топкие пальцы коснулись ручек настройки, стала, затаив дыхание, вслушиваться в эфир. Так просидела она полсмены. К утру Нина достала свою заветную тетрадку.

Верны мы памятью ему,
Склоняясь низко,
И зажигаем здесь весну —
Над обелиском…

Стихотворные строчки расплывались, слезы застилали глаза. Нина бросила карандаш, уткнулись в тетрадку, беззвучно зарыдала. Днем ушла в лес, где заливались птицы, расцвели вездесущие желтые одуванчики, которые скоро поседеют и полетят по всему свету. Она нарвала огромный букет, шепча привязавшиеся слова старинного романса, который часто мурлыкал Слепов: «Желтые розы — эмблема печали…».

…В День Победы Нина выпросила у повара поднос с горячими пирожками, выбежала на улицу и стала угощать варшавских ребятишек, у которых были такие знакомые, голодные глаза.

Закончилась война, можно подводить итоги. Летчики полка совершили тысячи вылетов, доставили партизанам более полутора тысяч тонн оружия и взрывчатки, вывезли четыре тысячи человек — раненых партизан и детей. Неоценимую помощь оказали партизанам других стран. Много раз дивизия упоминалась в приказах Верховного Главнокомандующего. В штабе машинистки с утра до вечера размножали замечательный документ, подписанный командиром авиасоединения гвардии генерал-майором авиации В. Картаковым. Вместе со всеми он был торжественно вручен и Нине:

«Воспитаннице 1-й бомбардировочной авиационной Сталинградской Краснознаменной дивизии дальнего действия Чкаловой Нине Федоровне. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина всему личному составу нашего соединения, в том числе и Вам, объявлены благодарности…». Дальше шли названия операций, в которых отличилась дивизия: прорыв блокады Ленинграда, освобождение Минска, Риги, Клайпеды, овладение городами Данциг, Кенигсберг, наконец — взятие Берлина.

Нина Чкалова после сдачи экзаменов на классного радиста. Зима 1943 года.

На летном поле под Варшавой перестали гудеть самолеты, вокруг воцарилась мирная тишина. Но прошло немного дней, и ясным теплым утром взревел первый прогреваемый мотор — полк собирался улетать домой, на Родину. Обменивались адресами, фотографировались на память при орденах. На груди у Нины засверкала медаль «За победу над Германией».

Расставания, расставания, крепкие объятия. И вдруг — невероятная радость. Кто принес эту весть, Нина не знала, но в памяти отпечаталось, как бросали вверх фуражки, стреляли, салютуя, из пистолетов:

— Живой, живой Коля Слепов! Жив Николай Игнатьевич!

Подбитый зенитным снарядом самолет покинул на парашютах весь экипаж… и попал прямо в лапы немецких солдат. Фашисты бросили летчиков в концлагерь. Они пытались бежать, по ним стреляли, пустили овчарок, догнали, истязали. Слепов чудом остался жив.

— Жив, жив, — твердила, бродя бесцельно по аэродрому, раскачиваясь из стороны в сторону, пряча холодные руки под мышки, Нина.

Друзья разлетелись во все концы страны. Нина возвратилась в Ленинград, поступила в Высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. Окончив его, вышла замуж, приехала в Петрозаводск. Она никогда не теряла из поля зрения однополчан, переписывалась с Бегуновым, Слеповым, Гризодубовой. В мае

1963 года Матушка решила собрать ветеранов 101-го гвардейского бомбардировочного авиационного Красносельского Краснознаменного полка. Нина Федоровна Сухопрудская в счастливом волнении помчалась в Москву.

Какая это была встреча! Огромный букет Матушке, дочерний поцелуй Бегунову, сердечные объятия Батьковой. Со слезами радости бросилась она к Слепову.

А вот и Герой Советского Союза Борис Григорьевич Лунц. Рядом с ним — знаменитый воздушный стрелок Константин Сергеевич Сархош, который привел в полк двух сыновей, Бориса и Руслана, и они были добрыми друзьями Нины. За ними идет Павел Иванович Борисов, смельчак и умница, Слава Орлов — любимец полка…

Среди гостей прославленные партизанские командиры Ковпак, Сабуров. Сидор Артемьевич Ковпак хорошо запомнился ей по одной военной встрече. Быстрый, говорливый, он шел в обнимку со своим «личным извозчиком» Борисом Лунцем, и Нина постеснялась подбежать, как обычно, к Борису Григорьевичу, чтобы поздравить с прибытием на родной аэродром. Они шли по ночному летному полю — оба в коротких полушубках, крепкие, в каком-то фантастическом глубоком лунном сиянии.

Нина стояла позади Гризодубовой. Ковпак подошел к Матушке, шутливо отрапортовал о благополучном перелете. Потом, уже серьезно, поблагодарил за огромную помощь партизанам, церемонно поцеловал руку. Нина не спускала глаз с Ковпака, ловила его слова, и ей не верилось, что этот веселый, внешне беззаботный дедушка и есть тот самый знаменитый партизанский генерал, чье имя наводит ужас на фашистов…

Валентина Степановна Гризодубова открыла встречу, поздравила собравшихся с восемнадцатой годовщиной великой Победы, предложила минутой молчания почтить павших однополчан.

Потом полковник Гризодубова стала вызывать на сцену каждого, и тот докладывал о своих мирных делах.

— Валентин Ковалев, заслуженный летчик-испытатель СССР. За установление мировых рекордов удостоен звания Героя Советского Союза. Здоровье отличное, готов к новым рекордам.

— Руслан Сархош. Учительствую в средней школе. Частенько рассказываю о наших ратных делах юным следопытам.

— Борис Лунц. Испытываю новую летную технику. Заслуженный летчик-испытатель СССР.

— Нина Сухопрудская-Чкалова. Художник-дизайнер, воспитываю двоих сыновей. Храню как святыню свои голубые погоны…

Мне от детства остались погоны,
Что носились на хрупких плечах.
Их глубокие очень изломы —
Это память о трудных путях.

Один за другим поднимались на сцену летчики, погрузневшие, поседевшие. Последним шел Герой Советского Союза Алексей Буланов. Еще не дойдя до сцены, он начинает песню, все подхватывают. Комок подступил к горлу, но Нина встряхивает копной густых каштановых волос и поет вместе со всеми:

Дай мне любое дело,
Чтобы сердце пело,
Верь мне, как тебе верю я!

Н. Ф. Сухопрудской (Чкаловой) пишут десятки сынов полка со всех концов страны.

Все дни недели у Нины Федоровны расписаны далеко вперед. С радостью выполняет она данное однополчанами поручение: идет к ребятам в школы, в ПТУ, в речное училище. Каждую неделю — встречи с пионерами, комсомольцами Петрозаводска. Воспитанница легендарной Гризодубовой с увлечением рассказывает о своей сегодняшней работе художника-оформителя в республиканской юношеской библиотеке, о боевых годах, о

дружбе и взаимовыручке, о сердечности ежегодных встреч однополчан в Москве, о великой, неугасающей силе фронтового братства. Нина Федоровна рассказывает, как однажды в ее семью пришла беда: в автомобильную катастрофу попал младший сын Димка, понадобились редкие лекарства. Боевые друзья во главе с Гризодубовой тут же пришли на помощь, и назавтра с пилотом рейсового самолета Москва — Петрозаводск были доставлены необходимые медикаменты.

— От самой Гризодубовой, — сказал гордо пилот. — Такое поручение каждый летчик, гражданский или военный, выполнит без слов.

Она рассказывает ребятам о своем детстве в солдатской шинели, о той заботе, какой ее окружили взрослые, читает стихи, написанные на войне, вспоминает храбрых летчиков, верных друзей. Эта тема неизменно притягивает и волнует ребят. И тогда Нина Федоровна рассказывает о музее «Юные защитники Родины», который создала на общественных началах в Курске фронтовичка Клара Александровна Рябова. Вместе со своими помощниками — школьниками она разыскала более тысячи сынов и дочерей полков. Разыскала и сдружила их между собой. И вот идут теперь письма в Петрозаводск из Киева — от бывшего юного пехотинца Виталия Бровко, из Донбасса — от разведчицы Адели Литвиненко, из Рязани — от артиллериста Гены Мусихиа, из Полтавской области — от разведчика Коли Печененко, из Москвы — от летчика-космонавта Владимира Шаталова, тоже бывшего воспитанника воинской части, а ныне командира символического сводного полка, в который входят сыны и дочери полков, дивизий, живущие в разных уголках нашей страны.

В музее сотни фотографий детей в военных гимнастерках, в солдатских шинелях, их фронтовые записки, дневники, воспоминания, личные вещи, аккуратно написанные биографии.

Нина Федоровна несколько раз ездила в Курск, организовала там уголок сынов полка, живущих в Карелии — а их здесь около десяти человек, — написала стихотворение и подарила его музею:

С давних пожелтевших фотографий
Смотрят дети взрослыми глазами.
Разных судеб, разных биографий,
Шли они военными путями…

Да, взрослыми глазами смотрели дети на мир в грозовые дни. И был в этих глазах весь ужас войны, но была и вера в наше правое дело, вера в Победу.

Прежде времени они стали солдатами, вместе со старшими

громили ненавистный фашизм. Но всегда чувствовали любовь и заботу Родины. Теперь, взрослыми, они все силы отдают борьбе за счастливое детство, за мирное небо для всех людей на земле.

notes

Примечания

1

Письмо хранится в Центральном государственном архиве Карельской АССР.

2

Здравствуйте, орлы! — *Здесь и далее перевод с литовского.*

3

Здравия желаем!

4

Сын.

5

Сыночек ты мой, сыночек…